
ДЕНИ
ДИДРО
Племянник Рамо
Парадокс об актере
АЗБУКА-КЛАССИКА

Племянник Рамо
Дени Дидро

Аннотация
Дени Дидро. Племянник Рамо

Аннотация

Наиболее значительное художественное произведение Дидро, философская повесть, написанная в форме диалога между автором и Рамо – реально существовавшим племянником прославленного композитора, способным дилетантом, но опустошенным, аморальным человеком. У Дидро это предельно циничный негодяй; в его философствованиях и рассказах о жизненных приключениях выступают во всей наготе эгоизм, лицемерие, карьеризм и неразборчивость в средствах, которые помогают ему удерживаться на поверхности житейского моря.

Дени Дидро
Племянник Рамо

Какова бы ни была погода — хороша или дурна, — я привык в пять часов вечера идти гулять в Пале–Рояль. Всегда один, я сижу там в задумчивости на скамье д'Аржансона. Я рассуждаю сам с собой с политике, о любви, о философии, о правилах вкуса; мой ум волен тогда предаваться полному разгулу; я предоставляю ему следить за течением первой пришедшей в голове мысли, правильной или безрассудной, подобно тому как наша распущенная молодежь в аллее Фуа следует по пятам за какой-нибудь куртизанкой легкомысленного вида, пленившись ее улыбкой, живым взглядом, вздернутым носиком, потом покидает ее ради другой, не пропуская ни одной девицы и ни на одной не останавливая свой выбор. Мои мысли — это для меня те же распутницы.

Если день выдался слишком холодный или слишком дождливый, я укрываюсь в кофейне «Регентство». Там я развлекаюсь, наблюдая за игрою в шахматы. Париж — это то место в мире, а кофейня «Регентство»– то место в Париже, где лучше всего играют в эту игру; у Рея вступают в схватку глубокомысленный Легаль, тонкий Филидор, основательный Майо, там видишь самые изумительные ходы и слышишь замечания самые пошлые, ибо если можно быть умным человеком

и великим шахматистом, как Легаль, то можно быть столь же великим шахматистом и вместе с тем глупцом, как Фубер или Майо. Однажды вечером, когда я находился там, стараясь побольше смотреть, мало говорить и как можно меньше слушать, ко мне подошел некий человек — одно из самых причудливых и удивительных созданий в здешних краях, где, по милости божией, в них отнюдь нет недостатка. Это — смесь высокого и низкого, здравого смысла и безрассудства; в его голове, должно быть, странным образом переплелись понятия о честном и бесчестном, ибо он не кичится добрыми качествами, которыми наделила его природа, и не стыдится дурных свойств, полученных от нее и дар. Отличается он крепким сложением, пылкостью воображения и на редкость мощными легкими. Коли вы когда-нибудь встретитесь с ним и его своеобразный облик не остановит ваше внимание, то вы либо заткнете себе пальцами уши, либо убежите. Боги! Какие чудовищные легкие! Никто не бывает так сам на себя непохож, как он. Иногда он худ и бледен, как больной, дошедший до крайней степени истощения: можно сквозь кожу щек сосчитать его зубы, и, пожалуй, скажешь, что он несколько дней вовсе ничего не ел или только что вышел

из монастыря траппистов. На следующий месяц он жирен и дороден, словно все это время так и не вставал из-за стола какого-нибудь финансиста или был заперт в монастыре бернардинцев. Сегодня он в грязном белье, в разорванных штанах, весь в лохмотьях, почти без башмаков, идет понурив голову, скрывается от взглядов: так и хочется подозвать его, чтобы подать милостыню. А завтра он, напудренный, обутый, завитой, хорошо одетый, выступает, высоко подняв голову, выставляет себя напоказ, и вы могли бы его принять чуть ли не за порядочного человека. Живет он со дня на день, грустный или веселый — смотря по обстоятельствам. Утром, когда он встал, первая его забота — сообразить, где бы ему пообедать; после обеда он думает о том, где будет ужинать. Ночь также приносит некоторое беспокойство: он либо возвращается пешком к себе на чердак, если только хозяйка, которой наскучило ждать от него денег за помещение, не отобрала у него ключ, либо устраивается в какой– харчевне предместья, где с куском хлеба и кружкой пива ожидает утра. Когда в кармане у него не находится шести су, — а это порою бывает, — он прибегает к помощи либо возницы своего приятеля, либо кучера какого-нибудь вельможи, предоставля-

ющего ему ночлег на соломе рядом с лошадьми. Утром часть его матраца еще застряла у него в волосах. Если погода стоит мягкая, он всю ночь шагает вдоль Сены по Елисейским полям. Когда рассветет, оп снова появляется в городе, одетый сегодня еще со вчерашнего дня, а то и до конца недели не переодеваясь вовсе. Такие оригиналы у меня не в чести. Другие заводят с ними близкое знакомство, вступают даже в дружбу: мое же внимание они при встрече останавливают раз в год, ежели своим характером достаточно резко выделяются среди остальных людей и нарушают то скучное однообразие. к которому приводят наше воспитание, наши светские условности, наши правила приличия. Если в каком-либо обществе появляется один из них, он, точно дрожжи, вызывает брожение и возвращает каждому долю его природной своеобычности. Он расшевеливает, он возбуждает, требует одобрения или порицания; он заставляет выступить правду, позволяет оценить людей достойных, срывает маски с негодяев; и тогда человек здравомыслящий прислушивается и распознает тех, с кем имеет дело.

Этого человека я знал давно. Он бывал в одном доме, двери которого ему открыл его талант. Там была единственная дочь; он клялся ее отцу и

матери, что женится на дочери. Те пожимали плечами, смеялись ему в лицо, говорили, что он сошел с ума, и вот пришел час, когда я понял: дело слажено.

Я давал ему те несколько экю, что он просил в долг. Он, не знаю каким образом, получил доступ в некоторые порядочные дома, где для него ставили прибор, но лишь под тем условием, что говорить он будет не иначе, как получив на то разрешение. Он молчал и ел, полный ярости; он был бесподобен, принужденный терпеть такое насилие. Если же ему приходила охота нарушить договор и он раскрывал рот, при первом же его слове все сотрапезники восклицали: «О, Рамо!» Тогда в глазах его искрилось бешенство, и он вновь с еще большей яростью принимался за еду. Вам было любопытно узнать имя этого человека, вот вы его и узнали: это Рамо, племянник того знаменитого Рамо, что освободил нас от одноголосия музыки Люлли, господствовавшего у нас более ста лет, создал столько смутных видений и апокалипсических истин из области теории музыки, в которых ни он сам, ни кто бы то ни было другой никогда не мог разобраться, оставил нам ряд опер, где есть гармония, обрывки мелодий, не связанные друг с другом мысли,

грохот, полеты, триумфы, звон копий. ореолы, шепоты, победы, нескончаемые танцевальные мотивы, доводящие до изнеможения, — композитора, который, похоронив флорентийца, сам будет погребен итальянскими виртуозами, что он и предчувствовал и что делало его мрачным, печальным, сварливым, ибо никто, даже и красавица, проснувшаяся с прыщиком на губе, не раз раздражается так, как автор, стоящий: перед угрозой пережить свою славу. Примеры тому — Мариво и Кребийон — сын.

Он подходит ко мне:

— Ах, вот как, и вы тут, господин философ! Что же вы ищете в этой толпе бездельников? Или вы тоже теряете время на то, чтобы передвигать деревяшки?.. (Так из пренебрежения называют игру в шахматы или в шашки.) Я. Нет; но когда у меня не оказывается лучшего занятия, я развлекаюсь, глядя некоторое время на тех, кто хорошо умеет их передвигать.

Он. В таком случае вы редко развлекаетесь; за исключением Легаля и Филидора, никто не знает в этом толку.

Я. А господин де Бисси?

Он. В этой игре он то же, что мадемуазель Клерон на сцене: и он и она знают только то, чему

можно выучиться.

Я. На вас трудно угодить, и вы, я вижу, согласны щадить лишь великих людей.

Он. Да, в шахматах, в шашках, в поэзии, в красноречии, в музыке и тому подобном вздоре. Что проку от посредственности в этих искусствах?

Я. Мало проку, согласен. Но множеству людей необходимо искать в них приложение своим силам, чтобы мог народиться гении; он — один из толпы. Но оставим это. Я целую вечность вас не видел. Я не вспоминаю о вас, когда вас не вижу, но мне всегда приятно встретить вас вновь. Что вы поделывали?

Он. То, что обычно делают люди, и вы, и я, и все прочие, — хорошее, плохое и вовсе ничего. Кроме того, я бывал голоден и ел, когда к тому представлялся случай; поев, испытывал жажду и пил иной раз. А тем временем у меня росла борода, и, когда она вырастала, я ее брил.

Я. Это вы напрасно делали: борода — единственное, чего вам недостает, чтобы принять облик мудреца.

Он. Да, конечно, — лоб у меня высокий и в морщинах, взгляд жгучий, нос острый, щеки широкие, брови черные и густые, рот правильно очерченный, выпяченные губы, лицо квадрат-

ное. И если бы этот объемистый подбородок был покрыт густой бородой, то, знаете ли, в мраморе или в бронзе это имело бы превосходный вид.

Я. Рядом с Цезарем, Марком Аврелием, Сократом.

Он. Нет. Я бы лучше чувствовал себя подле Диогена и Фрины. Я бесстыдник, как первый из них, и с удовольствием бываю в обществе особ вроде второй.

Я. Хорошо ли вы чувствуете себя?

Он. Обычно — да, но сегодня не особенно.

Я. Что вы! Да у вас брюхо, как у Силена, а лицо…

Он. Лицо, которое можно принять за противоположную часть тела. Что ж, от печали, которая сушит моего дорогого дядюшку, его милый племянник, очевидно, жиреет.

Я. Кстати, видитесь ли вы иногда с этим дорогим дядюшкой?

Он. Да, на улице, мимоходом.

Я. Разве он не помогает вам?

Он. Если он кому и помог когда-нибудь, то сам того не подозревая. Он философ в своем роде; думает он только о себе, весь прочий мир не стоит для него ломаного гроша. Дочь его и жена могут умереть, когда им заблагорассудится,

только бы колокола приходской церкви, которые будут звонить по ним, звучали дуодецимой и септдецимой, — и все будет в порядке. Так для него лучше, и эту-то черту я особенно ценю в гениях. Они годны лишь на что-нибудь одно, а более — ни на что; они не знают, что значит быть гражданином, отцом, матерью, родственником, другом. Между нами говоря, на них во всем следует походить, но не следует желать, чтобы эта порода распространялась. Нужны люди, а что до гениев — не надо их; нет, право же, не нужны они. Это они изменяют лицо земли, а глупость даже и в самых мелочах столь распространена и столь могущественна, что без шума не обойтись, если захочешь преобразовать и ее. Частично входит в жизнь то, что они измыслили, частично же остается то, что было; отсюда — два Евангелия, пестрый наряд арлекина. Мудрость монаха, описанного Рабле, — истинная мудрость, нужная для его спокойствия и для спокойствия других: она — в том, чтобы кое-как исполнять свой долг, всегда хорошо отзываться о настоятеле и не мешать людям жить так, как им вздумается. Раз большинство довольно такой жизнью — значит, живется им хорошо. Если б я знал историю, я показал бы вам, что зло появлялось в этом мире всегда из-за

какого-нибудь гения, но я истории не знаю, потому что я ничего не знаю. Черт меня побери, если я когда-нибудь чему бы то ни было научился и если мне хоть сколько-нибудь хуже оттого, что я никогда ничему не научался. Однажды я обедал у одного министра Франции, у которого ума хватит на четверых, и вот он доказал нам как дважды два четыре, что нет ничего более полезного для народа, чем ложь, и ничего более вредного, чем правда. Я хорошо не помню его доказательств, но из них с очевидностью вытекало, что гений есть нечто отвратительное и что, если бы чело новорожденного отмечено было печатью этого опасного дара природы, ребенка следовало бы задушить или выбросить вон.

Я. Однако же все подобные лица, столь сильно ненавидящие гениев, самих себя считают гениальными.

Он. Полагаю, что в глубине души они такого мнения, но не думаю, чтобы они решились признаться в этом.

Я. Да, из скромности. А вы так страшно возненавидели гениев.

Он. Бесповоротно.

Я. Но я помню время, когда вы приходили в отчаяние оттого, что вы только обыкновенный

человек. Вы никогда не будете счастливы, если доводы «за» и «против» одинаково будут вас удручать; вам следовало бы прийти к определенному мнению и уже в дальнейшем придерживаться его. Даже согласившись с вами, что люди гениальные обычно бывают странны, или, как говорится, нет великого ума без капельки безумия, мы не отречемся от них; мы будем презирать те века, которые не создали ни одного гения. Гении составляют гордость народов, к которым принадлежат; рано или поздно им воздвигаются статуи и в них видят благодетелей человеческого рода. Да не прогневается премудрый министр, на которого вы ссылаетесь, но я думаю, что если ложь на краткий срок и может быть полезна, то с течением времени она неизбежно оказывается вредна, что, напротив того, правда с течением времени оказывается полезной, хотя и может статься, что сейчас она принесет вред. А тем самым я готов прийти к выводу, что гений, описывающий какое-нибудь всеобщее заблуждение или открывающий доступ к некоей великой истине, есть существо, всегда достойное нашего почитания. Может случиться, что это существо сделается жертвой предрассудка или же законов; но есть два рода законов: одни — безусловной

справедливости и всеобщего значения, другие же — нелепые, обязанные своим признанием лишь слепоте людей или силе обстоятельств. Того, кто повинен в их нарушении, они покрывают лишь мимолетным бесчестьем — бесчестьем, которое со временем падает на судей и на народы, и падает навсегда. Кто ныне опозорен — Сократ или судья, заставивший его выпить цикуту?

Он. Большой ему от этого прок! Или он тем самым не был осужден на смерть? Не был казнен? Не являлся беспокойным гражданином? Своим презрением к несправедливому закону не поощрял сумасбродов презирать и справедливые? Не был человеком дерзким и странным? Вы вот сами только что были готовы произнести суждение, мало благоприятное для людей гениальных.

Я. Послушайте, мой дорогой. В обществе вообще не должно было бы быть дурных законов, а если бы законы в нем были только хорошие, ему никогда бы не пришлось преследовать человека гениального. Я ведь не сказал вам, что гений неразрывно связан со злонравием или злонравие — с гением. Глупец чаще, чем умный человек, оказывается злым. Если бы гений, как правило, был неприятен в обхождении, привередлив, обидчив, невыносим, если бы даже он был злой

человек, то какой бы из этого, по-вашему, был вывод?

Он. Что его следует утопить.

Я. Не торопитесь, дорогой. Вы вот послушайте: ну, вашего дядюшку Рамо я не возьму в пример — он человек черствый, грубый, он бессердечен, он скуп, он плохой отец, плохой муж, плохой дядя; но ведь не сказано, что это — высокий ум, что в своем искусстве он пошел далеко вперед и что лет через десять о его творениях еще будет речь. Возьмем Расина. Он, несомненно, был гениален, однако не считался человеком особенно хорошим. Или Вольтер!..

Он. Не забрасывайте меня доводами: я люблю последовательность.

Я. Что бы вы предпочли: чтобы он был добрым малым, составляя одно целое со своим прилавком, подобно Бриассону, или со своим аршином, подобно Варбье, каждый год приживая с женой законное дитя, — хороший муж, хороший отец, хороший дядя… хороший сосед, честный торговец, но ничего более, — или же чтобы он был обманщиком, предателем, честолюбцем, завистником, злым человеком, но автором «Андромахи», «Британника», «Ифигении», «Федры», «Аталии»?

Он. Право же, для него, пожалуй, лучше было бы быть первым из двух.

Я. А ведь это куда более верно, чем вы сами предполагаете.

Он. Ах, вот вы все какие! Если мы и скажем что-нибудь правильное, то разве что как безумцы или одержимые, случайно. Только ваш брат и знает, что говорит. Нет, господин философ, то, что я говорю, я знаю так же хорошо, как вы знаете то, что говорите сами.

Я. Положим, что так. Ну так почему же первым из двух?

Он. Потому, что все те превосходные вещи, которые он создал, не принесли ему и двадцати тысяч франков, а если бы он был честным торговцем шелком с улицы Сен-Дени или Сент-Оноре, аптекарем с хорошей клиентурой, вел бакалейную торговлю оптом, он накопил бы огромное состояние и, пока он его накапливал, он бы наслаждался всеми на свете удовольствиями, потому что время от времени он жертвовал бы пистоль бедному забулдыге-шуту вроде меня, который его смешил бы, а порой доставлял бы ему и милых девиц, а те развлекали бы его среди скуки постоянного сожительства с женой; мы чудесно бы обедали у него, играли бы по большой, пили

бы чудесные вина, чудесные ликеры, чудесный кофе, совершали бы загородные поездки. Вот видите — я знаю, что говорю. Вы смеетесь? Но позвольте мне сказать: так было бы лучше для его ближних.

Я. Не спорю, лишь бы он не употреблял во зло богатство, приобретенное честной торговлей, лишь бы он удалил из своего дома всех этих игроков, всех этих паразитов, всех этих пошлых любезников, всех этих бездельников и велел бы приказчикам из своей лавки до смерти избить палками того угодливого человека, что под предлогом разнообразия помогает мужьям легче переносить отвращение, которое вызывается постоянным сожительством с женами.

Он. Да что вы, сударь! Избить палками, избить палками! В городе благоустроенном никого не избивают палками. Да это ведь честное занятие; многие люди, даже титулованные, ему не чужды. Да и как, по-вашему на что, черт возьми, употреблять богачу свои деньги, если не на отменный стол, отменное общество, отменные вина, отменных женщин — наслаждения всех видов, забавы всех родов? Я предпочел бы быть бродягой, чем обладать большим состоянием, не имея ни одного из этих удовольствий. Но вернемся к Расину.

От этого человека прок был только людям, не знавшим его, и в такое время, когда его уже не было в живых.

Я. Согласен. Но взвесьте и вред и благо.

Он и через тысячу лет будет исторгать слезы; он будет вызывать восхищение во всех частях земного шара; он будет учить человечности, состраданию, нежности. Спросят, кто он был, из какой страны, и позавидуют Франции. Он заставил страдать нескольких людей, которых больше нет, которые почти и не вызывают в нас участия; нам нечего опасаться ни его пороков, ни его недостатков. Конечно, лучше было бы, если бы вместе с талантами великого человека природа наделила его добродетелями. Он — дерево, из-за которого засохло несколько других деревьев, посаженных в его соседстве, и погибли растения, гнездившиеся у его подножия; но свою вершину он вознес к облакам, ветви свои простер вдаль; он уделял и уделяет свою тень тем, что приходили, приходят и будут приходить отдыхать вокруг его величественного ствола; он приносил плоды, чудесные на вкус, которые обновляются непрестанно. Можно было бы пожелать, чтобы Вольтер отличался кротостью Дюкло, простодушием аббата Трюбле, прямотой аббата д'0ливе, но, раз это невозможно,

взглянем на вещи с точки зрения подлинной их ценности. Забудем на минуту о месте, которое мы занимаем во времени и в пространстве, и окинем взглядом будущие века, отдаленнейшие области и грядущие поколения. Подумаем о благо рода людского; если мы недостаточно великодушны, то, но крайней мере, простим природе, оказавшейся более мудрой, чем мы. Если вы голову Греза обдадите холодной водой, то, быть может, вместе с тщеславием угасите н его талант. Если вы Вольтера сделаете менее чувствительным к критике, он уже не в силах будет проникнуть в душу Меропы. Он больше но будет трогать вас.

Он. Но если природа так же могущественна, как и мудра, почему она не создала гениев столь же добродетельными, как и великими?

Я. Да разве вы не видите, что подобным рассуждением вы опрокидываете весь мировой порядок и что если бы все на земле было превосходно, то и не было бы ничего превосходного.

Он. Вы правы. Главное, чтобы вы и я были среди живых и чтобы мы были — вы и я, а там пусть все идет, как заблагорассудится. По моему мнению, наилучший порядок вещей — тот, при котором мне предназначено быть, и к черту лучший из миров, если меня в нем нет. Я предпочитаю быть, и

даже быть наглым болтуном, чем не быть вовсе.

Я. Все люди думают так, как вы, и, порицая существующий порядок, сами при этом замечают, что отказываются от собственного бытия. Он. Это верно.

Я. Согласимся же принять всякую вещь такою, как она есть, посмотрим, чего она нам стоит и что нам приносит, и оставим в покое целое, которое мы знаем недостаточно, чтобы хвалить его или бранить, и которое, быть может, ни плохо, ни хорошо, если оно необходимо; так полагают многие порядочные люди.

Он. Я мало понимаю в том, что вы мне излагаете. Это, по всей видимости, что-то из философии; предупреждаю вас, что не имею к этому касательства. Знаю лишь одно: что мне хотелось бы быть другим, чего доброго — гением, великим человеком; да, должен признаться, такое у меня чувство. Каждый раз, как при мне хвалили одного из них, эти похвалы вызывали во мне тайную ярость. Я завистлив. Когда мне сообщают какую-либо нелестную подробность из их частной жизни, мне приятно слушать: это сближает нас, и мне легче переносить мое ничтожество. Я говорю себе: «Да, конечно, ты бы никогда не написал „Магомета“ или похвального слова Мопу». Значит,

я ничтожество, и я уязвлен тем, что я таков. Да, да, я ничтожество, и я уязвлен. Всякий раз, как при мне играли увертюру к «Галантной Индии», всякий раз, как при мне пели арии «Глубокие бездны Тенара» или «Ночь, бесконечная ночь», я с горечью говорил себе: «Ты никогда по создашь ничего подобного». Итак, н завидовал моему дяде, и, если бы но смерти его в его панне оказалось несколько удачных фортепьянных пьес, я не знал бы колебаний — остаться ли мне самим собою или поменяться с ним местами.

Я. Если только это и печалит вас, то, право же, оно того не стоит.

Он… Это пустяки, это быстро проходит.

И он уже напевал увертюру к «Галантной Индии» и арию «Глубокие бездны», а потом прибавил:

— Смутное сознание, которое живет во мне, говорит:

«Рамо, тебе ведь очень хотелось, чтобы эти две вещицы были сочинены тобой; если бы ты сочинил эти две вещицы, то, верно, сочинил бы и две другие, а когда ты сочинил бы их некоторое количество, тебя играли бы, тебя пели бы повсюду. Ты бы высоко держал голову; ты сам в душе сознавал бы свое собственное достоинство; все

показывали бы на тебя пальцем, говорили бы: „Это он сочинил те прелестные гавоты“ (И он уже напевал эти гавоты; потом с умиленным видом человека, преисполненного радости, от которой у него и слезы на глазах, он прибавил, потирая себе руки)'. у тебя будет прекрасный дом (и он руками показывал его размеры), прекрасная постель (и он небрежно растягивался на ней), прекрасные вина (которые он пробовал, щелкая языком), прекрасный экипаж (и он заносил ногу, чтобы сесть в него), красавицы женщины (к груди которых он уже прикасался и на которых сладостно смотрел), сотня проходимцев будет каждый день воскурять тебе фимиам (и он как будто уже видел их вокруг себя; он. видел Палиссо, Пуансине, Фреронов — отца и сына, Ла Порта; он слушал их, преисполнялся важности, соглашался с ними, улыбался им, высказывал им пренебрежение, презрение, прогонял их, звал назад, потом продолжал); и вот так утром тебе говорили бы, что ты — великий человек; в „Трех столетиях“ ты прочитал бы, что ты — великий человек, вечером ты был бы убежден в том, что ты — великий человек, н великий человек Рамо засыпал бы под сладкий рокот похвал, который еще стоял бы у него в ушах: даже во время сна у него был бы довольный вид: грудь

его расширялась бы, поднималась бы, опускалась бы непринужденно; он храпел бы как великий человек...»

И, все продолжая говорить, он разлегся на скамейке, закрыл глаза, изображая состояние блаженного сна, о котором мечтал. Вкусив на несколько мгновений сладость этого отдыха, он пробудился, потянулся, зевнул, протер себе глаза и еще искал взглядом вокруг себя низких своих льстецов.

Я. Так вы считаете, что человек счастливый спит по-особому?

Он. Еще бы не считать! Когда я, жалкое существо, возвращаюсь вечером на свой чердак и забираюсь на свое убогое ложе, я весь съеживаюсь под одеялом, в груди — стеснение и трудно дышать; я будто и не дышу, а жалобно, еле слышно стону. А между тем какой-нибудь откупщик так храпит, что стены его опочивальни дрожат всей улице па диво. Но сейчас огорчает меня не то, что я не храплю и сплю как мелкая, жалкая тварь. Я. Это, однако, огорчительно.

Он. Гораздо огорчительнее то, что со мной произошло. Я. Что же это?

Он. Вы всегда принимали во мне известное участие, потому что я — добрый малый, которого

вы презираете, но который забавляет вас.

Я. Это правда.

Он. И я вам все расскажу.

Прежде чем начать, он испускает глубокий вздох и подносит ко лбу обе руки; затем снова принимает спокойный вид и обращается ко мне:

— Вы знаете, что я невежда, глупец, сумасброд, наглец, ленивец — то, что наши бургиньонцы называют отъявленным плутом, мошенником, обжорой. Я. Что за панегирик!

Он. Этот панегирик верен во всех отношениях, в нем слова не изменишь; не возражайте, пожалуйста. Никто не знает меня лучше, чем я сам, а я еще не все вам рассказываю.

Я. Не буду вас гневить и соглашусь с вами во всем.

Он. Так вот: я жил с людьми, которые благоволили ко мне только потому, что я в удивительной степени был наделен всеми этими качествами.

Я. Странно! До сих пор я полагал, что эти качества всякий человек старается скрыть от самого себя или извиняет их в себе, а в других они вызывают у него презрение.

Он. Скрыть их! Да разве это возможно? Будьте уверены, что, когда Палиссо остается один и задумывается, он и не то говорит себе; будьте

уверены, с глазу на глаз он и его коллега признаются друг другу, что они превелики» мошенники! Презирать эти качества у других! Мои друзья были справедливее, и благодаря складу моего характера я имел у них исключительный успех: я катался как сыр в масле, меня чествовали, мое отсутствие тотчас вызывало сожаление; н был их маленький Рамо, их миленький Рамо, Рамо-сумасброд, наглец, невежда, ленивец, обжора, шут, скотина. Каждый из этих привычных эпитетов приносил мне то улыбку, то ласковое слово, то похлопывание по плечу, пощечину, пинок; за столом лакомый кусок падал мне на тарелку; когда вставали из-за стола, по отношению ко мне разрешали себе какую-нибудь вольность, на которую я не обращал внимания, потому что я ни на что не обращаю внимания. Из меня, со мной, передо мной можно делать все что угодно, и я не обижаюсь. А милые подарки, которые сыпались на меня! И вот я, старый пес, я все это потерял! Я все потерял только потому, что один раз, всего лишь один раз в моей жизни, заговорил как здравомыслящий человек. О, чтобы это еще раз случилось со мной!

Я. Но в чем же дело?

Он. Это глупость, ни с чем не сравнимая, непо-

стижимая, непоправимая.

Я. Что еще за глупость?

Он. Рамо! Рамо! Разве за такого человека принимали вас? Что за глупость — проявить немного вкуса, немного ума, немного здравого смысла! Рамо, друг мой, это научит вас ценить то, что сделал для вас господь и чего хотели от вас ваши благодетели. Недаром вас взяли за плечи, довели до порога и сказали: «Убирайтесь, олух, и не появляйтесь больше. Это существо претендует на ум, чуть ли не на благоразумие! Убирайтесь. У нас такого добра и без того хватает». Вы кусали себе пальцы, когда уходили; проклятый ваш язык — вот что бы вам следовало откусить! Вы это не сообразили — и вот вы на улице, без гроша, и неизвестно, где вам приткнуться. Вы ели все, что душе угодно, — и вот вы будете питаться отбросами; у вас были прекрасные апартаменты — и вот вы безмерно счастливы, если вам возвращают ваш чердак; у вас была прекрасная постель — и вот вас ждет солома либо у кучера господина де Субиза, либо у вашего приятеля Роббе; вместо того чтобы спать спокойным, безмятежным сном, коим вы так наслаждались, вы будете одним ухом слушать, как ржут и топчутся кони, а другим внимать звуку в тысячу раз более неснос-

ному — стихам сухим, топорным, варварским. О, несчастное, злополучное существо, одержимое миллионами бесов!

Я. Но разве нет пути к возврату? И разве проступок, совершенный вами, столь уж непростителен? На вашем месте я бы отправился к этим людям. Вы для них более необходимы, чем думаете сами.

Он. О! Я уверен, что теперь, когда меня нет с ними и некому их смешить, они скучают зверски.

Я. Так я бы отправился к ним опять, я не дал бы им времени привыкнуть к моему отсутствию или найти какое-нибудь более достойное развлечение. Ведь кто знает, что может случиться?

Он. Вот этого я не опасаюсь. Это не случится.

Я. Как бы вы ни были хороши, кто-нибудь другой может занять ваше место.

Он. Навряд ли.

Я. Пусть так. Но все же я бы явился к ним с расстроенным лицом, с блуждающим взглядом, обнаженной шеей, взъерошенными волосами — словом, в том истинно плачевном состоянии, в котором вы находитесь. Я бросился бы к ногам божественной дамы, распростерся бы ниц и, не подымаясь с колен, сказал бы ей приглушенным голосом, сдерживая рыдания: «Простите, сударь-

ня, простите! Я недостойный, я гнусный человек. Но то была злополучная минута, ибо вы ведь знаете, что я не привержен здравому смыслу, и я обещаю вам, что в жизни моей больше не проявлю его».

Забавно было то, что, пока я произносил эту речь, он сопровождал ее пантомимой: он простерся ниц, прижался лицом к земле, как будто держа при этом руками кончик туфли; он плакал; всхлипывая, он говорил: «Да, королева моя, да, я обещаю, я никогда в жизни его не проявлю, никогда в жизни...» Потом, поднявшись резким движением, он прибавил серьезно и рассудительно:

— Да, вы правы; я вижу, что это — лучший выход. Она добрая; господин Вьейар говорит, что она такая добрая... Я-то знаю тоже, что она добрая; но все же идти унижаться перед шлюхой, молить о пощаде у ног фиглярки, которую непрестанно преследуют свистки партера! Я, Рамо, сын Рамо, дижонского аптекаря, человека добропорядочного, никогда ни перед кем не склонявшего колени! Я, Рамо, племянник человека, которого называют великим Рамо, которого все могут видеть в Пале-Рояле, когда он гуляет, выпрямившись во весь рост и размахивая руками,

вопреки господину Кармонтелю, что изобразил его сгорбленным и прячущим руки под фалдами. Я, сочинивший пьесы для фортепьяно, которых никто не играет, но которые, может быть, одни только и дойдут до потомства, и оно будет их играть; я, словом — я, куда-то пойду!.. Послушайте, сударь, это невозможно (и, положив правую руку на грудь, он прибавил): я чувствую, как во мне что-то поднимается и говорит мне: «Рамо, ты этого не сделаешь». Природе человека должно же быть присуще известное достоинство, которого никто не может задушить. Оно просыпается ни с того ни с сего, да, да, ни с того ни с чего, потому что выдаются и такие дни, когда мне ничего не стоит быть низким до предела; н такие дни я за лиар поцеловал бы зад маленькой Юс.

Я. Да послушайте, дружище, она же беленькая, хорошенькая, молоденькая, нежная, пухленькая, и это — акт смирения, до которого норой мог бы снизойти человек даже менее щепетильный, чем вы.

Он. Примем во внимание, что зад можно целовать в прямом смысле и в переносном. Расспросите на этот счет толстяка Боржье, он и в прямом и в переносном смысле целует зад госпоже Ламарк, а мне это, ей-богу, и в прямом и в

переносном смысле одинаково не нравится.

Я. Если средство, которое я вам подсказываю, вам не подходит, наберитесь храбрости, чтобы вести жизнь нищего.

Он. Горько быть нищим, когда на свете столько богатых глупцов, за счет которых можно было бы существовать. И вдобавок это презрение к самому себе — оно невыносимо.

Я. Разве такое чувство вам знакомо?

Он. Знакомо ли оно мне! Сколько раз я говорил себе:

«Статочное ли это дело, Рамо, — в Париже десять тысяч превосходных столов, накрытых каждый на пятнадцать или двадцать приборов, и ни один из этих приборов не предназначен для тебя. Есть кошельки, полные золота, оно течет направо и налево, и ни одна из монет не попадает к тебе! Тысячи мелких остроумцев, не блещущих ни та лаптами, ни достоинствами, тысячи мелких тварей, ничем не привлекательных, тысячи пошлых интриганов пре красно одеты — а ты будешь ходить голым! И ты до такой степени будешь дураком! Неужели же ты не сумеешь льстить, как всякий другой? Неужели ты не сумеешь лгать, клясться, лжесвидетельствовать, обещать, сдерживать обещание или нарушать

его, как всякий другой? Неужели ты не мог бы стать на задние лапки, как всякий другой? Неужели ты не мог бы посодействовать интрижке госпожи такой-то и отнести любовную записку от господина такого-то, как всякий другой? Неужели ты не смог бы, как всякий другой, приободрить вот этого молодого человека, чтобы он заговорил с такой-то девицей, а девицу убедить выслушать его? Неужели ты не мог бы дать понять дочери одного из наших горожан, что она дурно одета, что красивые сережки, немножко румян, кружева на платье в польском вкусе были бы ей как нельзя более к лицу? Что эти маленькие ножки вовсе не созданы для того, чтобы ступать по мостовой? Что есть пеки» красавец, молодой и богатый, у которого камзол с золотым шитьем, великолепная карета, шесть рослых лакеев, что он как-то мимоходом видел ее, нашел ее очаровательной и с тех пор не ест, не пьет, лишился сна и может просто умереть? «Но мой папенька?»– «Ну что там ваш папенька! Сперва он немножко посердится». — «А маменька, которая мне все внушает, чтобы я была честной девушкой, и твердит, что нет на свете ничего дороже девичьей чести?»– «Пустое!»– «А мой духовник?»– «Вы больше не увидите его, а если вам, по странной прихоти все

будет хотеться рассказать ему историю ваших забав, это вам обойдется в несколько фунтов сахара и кофе». — :Он человек строгий и даже отказался отпустить мне грехи из-за того, что я пела песенку «Приди в мою обитель»– «Это потому, что сегодня вам нечего ему дать, но когда вы явитесь перед ним в кружевах…»– «Так у меня будут кружева?» — «Разумеется, и всех сортов… Да еще красивые брильянтовые сережки…» — «Так у меня будут и фильянтовые сережки?»– «Да». — «Как у той маркизы, то покупает иногда перчатки в нашей лавке?»– «Такие точно… К тому же превосходная карета, запряженная с крыши в яблоках лошадьми, два рослых лакея, негритенок, впереди — скороход; к тому же румяна, мушки, длинный шлейф». — «Чтобы ехать на бал?» — «На бал, в Оперу, в Комедию…» (У нее уже сердце прыгает от радости… А ты вертишь в пальцах какую-то бумажку.) — «Что это такое?» — «Так, пустяки». — «А мне сдается, что нет». — «Это записка». — «А для кого?»– «Для вас, если вы хоть немножко любопытны». — «Любопытна? Да, я очень любопытна. Взгляну-ка… (Читает.) Свидание? Это вещь невозможная». — «По дороге в церковь». — «Маменька всегда ходит со мной. Но ежели бы он пришел сюда пораньше утрем, то я просыпаюсь первая и

стою за прилавком, пока еще никто не встал». Он является, имеет успех; в один прекрасный день под вечер малютка исчезает, и мне отсчитывают мои две тысячи экю… Да возможно ли? Обладать таким талантом и быть без куска хлеба? Не стыдно тебе, несметный?..» Мне вспоминается целая толпа мошенников, которые не стоили моего мизинца, а утопали в роскоши. Я носил сюртук из грубого сукна, а они были одеты в бархат; трость у них с золотым набалдашником в виде клюва, а на пальце перстень с головой Аристотеля или Платона. А между тем кто они были такие? Жалкие музыкантики. Теперь же они — знатные господа. И вот я ощущал прилив смелости, душа окрылялась, ум приобретал гибкости, и я чувствовал себя способным на все. Но, видимо, такое счастливое расположение духа оказывалось мимолетным, ибо до сих пор я не продвинулся вперед. Как бы то ни было, вот вам содержание моих разговоров с самим собой, которые вы вольны истолковать как нам будет угодно, лишь бы вы сделали из них тот вывод, что мне знакомо презрение к самому себе или угрызения совести, порожденные сознанием бесполезности тех талантов, которыми небо наделило нас. Это жесточайшая из всех мук. Лучше бы, пожалуй, вовсе не родиться на свет.

Я слушал его, и, по мере того как он разыгрывал роль сводника, соблазняющего девушку, моей душой овладевали два противоположных чувства — я не знал, уступить ли желанию расхохотаться или отдаться порыву гнева. Раз двадцать разражаясь смехом, я не давал разразиться негодованию; раз двадцать негодование, подымавшееся из глубины моего сердца, кончалось взрывами смеха. Я был ошеломлен такой проницательностью и вместе такой низостью, чередованием мыслей столь верных и столь ложных, столь полной извращенностью всех чувств, столь бесконечной гнусностью и вместе с тем столь необычной откровенностью. Мое состояние не ускользнуло от него.

— Что с вами? — спросил он.

Я. Ничего.

Он. Вы, как мне кажется, расстроены?

Я. Это так.

Он. Но что же, в конце концов, вы мне посоветуете?

Я. Изменить тему разговора. Ах, несчастный, как низко вы пали!

Он. Согласен с вами. Но все же пусть мое положение не очень вас беспокоит. Решив открыться вам, я вовсе не был намерен расстраивать вас.

Пока я жил у тех людей, про которых рассказывал вам, я сделал кое-какие сбережения. Примите в расчет, что я не нуждался ни в чем, решительно ни в чем, и что мне много отпускалось на мелкие расходы.

Он снова стал бить кулаком по лбу, кусать себе губы и, вращая глазами, подымать к потолку блуждающий взгляд, потом заметил: «Но дело сделано; я кое-что успел отложить; с тех пор прошло некоторое время, а это означает прибыль».

Я. Убыль — хотите вы сказать?

Он. Нет, нет, прибыль. Мы богатеем каждое мгновение: если одним днем меньше осталось жить или если одним экю стало больше в кармане — все едино. Главное в том, чтобы каждый вечер легко, беспрепятственно, приятно и обильно отдавать дань природы. Вот главный итог жизни во всех положениях. В последний час одинаково богаты все: и Омюэль Берпар, который, воруя, грабя и банкротясь, составляет двадцать семь миллионов золотом, и Рамо, который ничего не оставит и лишь благотворительности будет обязан саваном из грубого холста. Мертвец не слышит, как вопят но нем колокола; напрасно сотня священников дерет себе горло из-за него и длинная цепь пылающих факелов предшествует

гробу и следует за ним: душа его не идет рядом с распорядителем похорон. Гнить ли под мрамором или под землей — все равно гнить. Будут ли вдруг вашего гроба красные и синие сироты, или не будет никого — не все ли равно? А потом — видите вы эту руку? Она была чертовски тугая, эти десять пальцев были все равно как палки, воткнутые в деревянную пясть, а эти сухожилия — как струны из кишок, еще суше, еще туже, еще крепче, нежели те, какие употребляются для токарных колес. Но я их столько терзал, столько сгибал и ломал! Ты не слушаешься, а я тебе, черт возьми, говорю, чтобы будешь слушаться, и так оно и будет…

И, говоря это, он правой рукой схватил пальцы и кисть левой и стал выворачивать их во все стороны; он прижимал концы пальцев к запястью, так что суставы хрустели; я опасался, как бы он не вывихнул их.

Я. Будьте осторожны, вы искалечите себя.

Он. Не бойтесь, они к этому привыкли; за десять лет я с ними и не то проделывал! Хочешь не хочешь, а пришлось им к этому привыкнуть и выучиться бегать по клавишам, и летать по струнам. Зато теперь все идет так, как надо…

И вот он принимает позу скрипача; он напевает

allegro из Локателли; правая рука его подражает движению смычка; левая рука и пальцы как будто скользят по грифу. Взяв фальшивую ноту, он останавливается; он подтягивает или спускает струну; он пробует ее ногтем, чтобы проверить, настроена ли она; он продолжав» играть с того места, где остановился. Он ногой отбивает «акт, машет головой, приводит в движение руки, ноги, все туловище, как мне это порой случалось видеть на духовном концерте Феррари, или Кьябрана, или другого какого виртуоза, корчившегося в тех же судорогах, являвшего мне зрелище такой же пытки и причинявшего примерно такое же страдание, ибо не мучительно ли видеть страдания того, кто старается доставить мне удовольствие? Опустите между мной и этим человеком занавес, который скрыл бы его от меня, раз неизбежно, чтобы он изображал осужденного на пытку! Коли среди всего того возбуждения и криков наступала выдержка, один из тех гармонических моментов, когда смычок медленно движется но нескольким струнам сразу, лицо его принимало выражение восторга, голос становился нежным, он слушал самого себя с восхищением; он не сомневался, что аккорды раздаются и в его и в моих ушах. Потом, сунув свои инструмент под мышку той

самой длиной рукой, в которой он его держал, и уронив правую руку со смычком, он спросил: „Ну как, по-вашему?“

Я. Как нельзя лучше!

Он. Мне кажется, неплохо; звучит примерно так же, как и у других…

он уже согнулся, как музыкант, садящийся за фортепьяно.

Я. Прошу вас, пощадите и себя и меня.

Он… Пет, нет; раз вы в моих руках, вы меня послушаете. Я вовсе не хочу, чтобы меня хвалили неизвестно за что. Вы теперь с большей уверенностью будете одобрять мою игру, и это даст мне несколько новых учеников.

Я. Я так редко бываю где-нибудь, и вы только понапрасну утомите себя.

Он. Я никогда не утомляюсь.

Видя, что бесполезно проявлять сострадание к этому человеку, который после сонаты на скрипке уже был весь в поту, я решил не мешать ему. Вот он уже сидит за фортепьяно, согнув колени, закинув голову к потолку, где он, казалось, видит размеченную партитуру, напевает, берет вступительные аккорды, исполняет какую-то вещь Альберти или Галуппи — не скажу точно, чью именно. Голос его порхал как ветер, а пальцы

летали по клавишам, то оставляя верхние ноты ради басовых, то обрывая аккомпанемент и возвращаясь к верхам. На лице его одни чувства сменялись другими: оно выражало то нежность, то гнев, то удовольствие, то горе; по нему чувствовались все piano, все forte, и я уверен, что человек более искушенный, чем я, мог бы узнать и самую пьесу по движениям исполнителя, по характеру его игры, по выражению его лица и по некоторым обрывкам мелодии, порой вырывавшимся из его уст. Но что всего было забавнее, так это то, что временами он сбивался, начинал снова, как будто сфальшивил перед тем, и досадовал, что пальцы не слушаются его.

— Вот, — сказал он, выпрямляясь и вытирая капли пота, которые текли по его щекам, — вы видите, что и мы умеем ввести тритон, увеличенную квинту и что сцепления доминант нам тоже знакомы. Все эти энгармонические пассажи, о которых так трубит милый дядюшка, тоже не бог весть что; мы с ними тоже справляемся.

Я. Вы очень старались, чтобы показать мне, какой вы искусный музыкант; а я поверил бы вам и так.

Он. Искусный? О нет! Но что до самого ремесла, то я его более или менее знаю, и даже больше

чем достаточно; разве нужно у нас знать то, чему учишь?

Я. Не более, чем знать то, чему учишься.

Он. Верно сказано, черт возьми, весьма верно! Но, господин философ, скажите прямо, положа руку на сердце, — было время, когда вы не были так богаты, как сейчас?

Я. Я и сейчас не слишком-то богат.

Он. Но летом в Люксембургский сад вы больше не пошли бы… Помните?

Я. Оставим это — я все помню.

Он. В сером плисовом сюртуке…

Я. Ну да, да.

Он. …ободранном с одного бока, с оборванной манжетой, да еще в черных шерстяных чулках, заштопанных сзади белыми нитками.

Я. Ну да, да, говорите что угодно.

Он. Что вы делали тогда в аллее Вздохов?

Я. Являл жалкое зрелище.

Он. А выйдя оттуда, брели по мостовым?

Я. Так точно.

Он. Давали уроки математики?

Я. Ничего не смысля в ней. Не к этому ли вы и вели всю речь?

Он. Вот именно.

Я. Я учился, уча других, и вырастил несколько

хороших учеников.

Он. Возможно, но музыка не то, что алгебра или геометрия. Теперь, когда вы стали важным барином…

Я. Не таким уж важным.

Он. …когда в мошне у вас водятся деньги…

Я. Весьма немного.

Он. …вы берете учителя к вашей дочке. Я. Еще нет; ее воспитанием ведает мать: ведь надо со хранить мир в семье.

Он. Мир в семье? Черт возьми, да чтобы сохранить его, нужно быть самому или слугой, или господином, а господином-то и надо быть… У меня была жена… царство ей небесное; но когда ей порой случалось надерзить мне, я бушевал, метал громы, возглашал, как господь бог: «Да будет свет!»-и свет появлялся. Зато целых четыре года у нас дома были тишь да гладь. Сколько лет вашему ребенку?

Я. Это к делу но относится.

Он. Сколько лет вашему ребенку?

Я. Да ну, па кой вам это черт! Оставим в покое мою дочь и ее возраст и вернемся к ее будущим учителям.

Он. Ей-богу, не знаю никого упрямее философов. Но все же нельзя ли покорнейше просить

его светлость господина философа хоть приблизительно указать возраст его дочери?

Я. Предположим, что ей восемь лет.

Он. Восемь лет? Да уже четыре года, как ей надо бы держать пальцы на клавишах.

Я. А я, может быть, вовсе и не думаю о том, чтобы ввести в план ее воспитания предмет, берущий столько времени и приносящий так мало пользы.

Он. Так чему же, позвольте спросить, вы будете ее обучать?

Я. Если мне удастся, обучу правильно рассуждать — искусство столь редкое среди мужчин и еще более редкое среди женщин.

Он. Э! Пусть судит вздорно как угодно, лишь бы она была хорошенькой, веселой и кокетливой.

Я. Природа была к ней так неблагосклонна, что наделила ее нежным сложением и чувствительной душой и отдала ее на произвол жизненных невзгод, как если бы у нее было сильное тело и железная душа, а раз это так, я научу ее, если это мне удастся, мужественно переносить невзгоды.

Он. Э! Пусть она плачет, капризничает, жалуется на расстроенные нервы, как все другие, лишь бы она была хорошенькой, веселой и кокетливой! Но неужели и танцам не будет учиться?

Я. Не больше, чем надо для того, чтобы сделать реверанс, прилично себя держать, уметь представиться и иметь красивую походку.

Он. И пению не будет учиться?

Я. Не больше, чем надо для ясного произношения.

Он. И музыке не будет учиться?

Я. Если бы был хороший учитель гармонии, я бы охотно поручил ему заниматься с нею два часа каждый день в течение года или двух — не больше.

Он. А что будет взамен этих существенных предметов, которые вы упраздните?

Я. Будет грамматика, мифология, история, география, немного рисования и очень много морали.

Он. Как легко мне было бы доказать вам бесполезность всех этих познании в обществе, подобном нашему! Да что я говорю — бесполезность? Может быть, вред! Но пока что н ограничусь лишь вопросом: не понадобится ли ей один или два учителя? Я. Конечно.

Он. Ну вот и главное: что же, вы надеетесь, что эти учителя будут знать грамматику, мифологию, географию, мораль, которые они будут ей преподавать? Дудки, дорогой мой мэтр, дудки! Если бы

они владели всеми этими предметами настолько, чтобы им учить, они не стали бы учителями.

Я. А почему?

Он. Потому что они посвятили бы свою жизнь их изучению. Нужно глубоко проникнуть в искусство или в науку, чтобы овладеть их основами. Классические творения могут быть по-настоящему написаны только теми, кто поседел в трудах; лишь середина и конец рассеивают сумерки начала. Спросите вашего друга господина д'Аламбера, корифея математической науки, сможет ли он изложить ее основные начала. Мой дядя только после тридцати или сорока лет занятий проник в глубины теории музыки и увидел первые ее проблески.

Я. О сумасброд! Архисумасброд! Как это возможно, что в вашей дурной голове столь правильные мысли перемешаны с таким множеством нелепостей!

Он. Кто это может знать, черт возьми! Случай заносит их туда, и они там застревают. Как бы то ни было, когда не знаешь всего, ничего толком не знаешь; даже неизвестно, куда что ведет, откуда что приходит, где чему надлежит быть, что должно занять первое место, а что второе. Можно ли преподавать без метода? А откуда возникает

метод? Знаете, мой философ, мне думается, что физика всегда будет жалкой наукой, каплей воды из необъятного океана, взятой на кончике иголки, песчинкой, оторвавшейся от альпийских гор. А поищите причины явлений! Право же, лучше бы ничего не знать, чем знать так мало и так плохо, и к этой-то мысли я и пришел, когда стал давать уроки музыки. О чем вы задумались?

Я. Я думаю о том, что все сказанное вами скорее остроумно, чем основательно. Но оставим это. Так вы говорите, что преподавали аккомпанемент и композицию?

Он. Да.

Я. И сами ничего но знали?

Он. Ей-богу, не знал, и вот поэтому-то оказывались учителя хуже меня — те, которые считали, будто знают что-то. Я, но крайней мере, не портил детям ни вкуса, ни рук. Таи как они ничему не научились, то, когда переходили от меня к хорошему учителю, им ни от чего не нужно было отучаться, а это уже сберегало и деньги и время.

Я. Как же вы это делали?

Он. Как все они делают. Я приходил, в изнеможении опускался на стул. «Какая скверная погода! Как устаешь ходить пешком!» Я болтал, сообщал новости. «Мадемуазель Лемьер должна

была готовиться к роли весталки в новой опере, но забеременела уже второй раз; неизвестно, кто ее будет заменять. Мадемуазель Арну только что бросила своего графчика; говорят, она уже торгуется с Бертеном. Графчик той норой нашел себе занятие — фарфор господина Монтами. В последнем любительском концерте одна итальянка пела как ангел. Этот Превиль — нечто неповторимое!.. Надо видеть его в „Галантном Меркурии“, сцена с загадкой неподражаема… А бедная Дюмениль не понимает больше ни того, что говорит, ни того, что делает… Ну, мадемуазель, возьмите ваши ноты».

Пока мадемуазель не торопясь ищет ноты, которые затерялись, пока зовут горничную, делают выговор, я продолжаю: «Эту Клерон просто не понять. Толкуют о весьма нелепом браке: это брак некоей… — как бишь ее? — та самая малютка, что была на содержании у… он еще наградил ее двумя или тремя детишками… она была на содержании также у других». — «Полноте, Рамо; вы заговариваетесь; да этого не может быть». — «Я вовсе не заговариваюсь: толкуют даже, что дело уже решено… Есть слух, будто умер Вольтер; тем лучше». — «А почему лучше?» — «Да уж наверняка он затевает какую-нибудь штуку; у него

обычай — умирать за две недели до этого…»

Что прибавить еще? Я рассказывал еще какой-нибудь двусмысленный вздор, вынесенный из домов, в которых побывал, — ведь все мы большие сплетники. Я кривлялся, меня слушали, смеялись, восклицали: «Он всегда очарователен!» Тем временем ноты нашей девицы отыскивались под каким-нибудь креслом, куда их затащил, помяв и разорвав, мопс или котенок. Она садилась за клавесин; сперва она барабанила на нем одна, затем я подходил к ней, сначала одобрительно кивнув матери. Мать: «Идет недурно; стоило бы только захотеть, но мы не хотим: мы предпочитаем тратить время на болтовню, на тряпки, на беготню, бог весть на что. Не успеете вы уйти, как ноты закрываются и уже не открываются до вашего возвращения; да вы никогда и не браните ее». Но так как что-то надо же было делать, я брал руки ученицы и переставлял их; я начинал сердиться, кричал: «Sol, sol, sol, сударыня, это же sol!» Мать: «Сударыня, или у вас совсем нет слуха? Я хоть и не сижу за клавесином и не вижу ваших нот, чувствую, что здесь надо sol. Вы причиняете столько хлопот вашему учителю; я поражаюсь его терпению; вы ничего не запоминаете из того, что он вам говорит, вы не делаете успехов…» Тут

я немного смягчался и, покачивая головой, говорил: «Извините меня, сударыня, извините; все могло бы пойти на лад, если бы барышня хотела, если бы она занималась; но все-таки дело идет недурно». Мать: «На вашем месте я продержала бы ее целый год на одной и той же пьесе». — «О, что до этого, она от нее не отделается, пока не преодолеет всех трудностей; но этого ждать не так долго, как вы полагаете». — «Господин Рамо, вы льстите ей, вы слишком добры. Из всего урока она только это и запомнит и при случае сумеет мне повторить…»

Проходил час; моя ученица грациозным жестом и с изящным реверансом, которому научилась от учителя танцев, вручала мне конвертик; я клал его в карман, а мать говорила: «Превосходно, сударыня; если бы Жавийе видел вас, он бы вам аплодировал». Из приличия я болтал еще несколько минут, потом удалялся, и вот что называлось тогда уроками музыки.

Я. А теперь стало иначе?

Он. Еще бы! Прихожу, вид у меня серьезный; я тороплюсь положить свою муфту, открываю клавесин, пробую клавиши; я всегда тороплюсь; если меня заставляют ждать хоть минуту, я подымаю крик, как если бы у меня украли мои

экю: через час я должен быть там-то, через два часа у герцогини такой-то; к обеду меня ждут у некоей красавицы маркизы, а затем мне надо быть на концерте у барона Багге на улице Нев де ПтиШан.

Я. А между тем вас нигде не ждут?

Он. Да, вы правы.

Я. Так зачем же прибегать ко всем этим унизительным уловкам, всем этим мелким, недостойным хитростям?

Он. Унизительным? А почему унизительным, позвольте спросить? Они — дело привычное в моем положении, я не унижаюсь, поступая как все. Не я изобрел эти хитрости, и было бы нелепо и глупо, если бы я не стал к ним прибегать. Правда, я знаю, что если вы захотите применить здесь какие-то общие правила бог весть какой морали, которая у них у всех на устах, хотя никто из них ее не придерживается, то, может статься, белое окажется черным и черное — белым. Но есть, господин философ, всеобщая совесть, как есть и всеобщая грамматика, и есть в каждом языке исключения, которые у вас, ученых, называются… да подскажите мне… называются…

Я. Идиотизмами.

Он. Совершенно верно. Так вот: всякому сосло-

вию присущи исключения из правил всеобщей совести, которые мне бы хотелось назвать идиотизмами ремесла.

Я. Понимаю. Так, например, Фонтеполь хорошо говорит, хорошо пишет, хоть слог его и кишит идиотизмами французской речи.

Он. А монарх, министр, откупщик, судья, военный, писатель, адвокат, прокурор, торговец, банкир, ремесленник, учитель пения, учитель танцев — тоже весьма честные люди, хотя и их поведение во многих смыслах отклоняется от правил всеобщей совести и полно моральных идиотизмов. Чем древнее само установление, тем больше идиотизмов, чем тяжелее времена, тем идиотизмы многообразнее. Каков человек, таково и ремесло, и, наоборот, каково ремесло, таков и человек. Вот почему стараешься поднять в цене свое ремесло.

Я. Из всего этого хитросплетения мне ясно только то, что мало есть ремесел, которыми занимаются честно, или мало честных людей, которые честно занимаются своим ремеслом.

Он. Еще чего! Да их вовсе нет, но зато мало и мошенников, кроме тех, что сидят каждый день в своей лавочке, и все было бы сносно, если бы не известное число людей, которые, что назы-

вается, усидчивы, аккуратны, точно исполняют свои прямые обязанности, или, что означает то же самое, всегда сидят в своей лавочке и с утра до вечера занимаются своим ремеслом, и ничем другим. Недаром только они и богатеют и пользуются уважением.

Я. В силу идиотизмов?

Он. Именно так. Я вижу, что вы меня поняли. И вот есть идиотизм, свойственный почти всем сословиям, так же как есть идиотизмы, свойственные всем странам, всем временам, и как есть всеобщие глупости, и этот всеобщий идиотизм состоит в стремлении получить как можно более обширную практику; всеобщая же глупость состоит во мнении, будто самый искусный тот, у кого практика больше. Вот два исключения из правил всеобщей совести, и с ними нужно сообразоваться. Это своего рода кредит; само по себе это ничто, приобретающее вес лишь благодаря общественному мнению. Говорят, что доброе имя дороже золота; между тем тот, у кого доброе имя, часто не имеет золота, а в наше время, как я вижу, тот, у кого есть золото, не терпит недостатка и в добром имени. Следует, насколько это возможно, иметь и доброе имя и золото, и эту цель я преследую, когда подымаю себе цену при помощи

средств, которые вы называете унизительными уловками, недостойными, мелкими хитростями. Я даю урок, даю его хорошо — таково общее правило; я стараюсь уверить, что уроков у меня больше, чем в сутках часов, — таков идиотизм.

Я. А урок вы даете хорошо?

Он. Да, неплохо, прилично. Основной бас милого дядюшки все это очень упростил. Раньше я воровал деньги моего ученика — да, я воровал их, это бесспорно так; теперь же я зарабатываю их, по крайней мере, не хуже, чем другие.

Я. И вы воровали без угрызений совести?

Он. Без всяких угрызений. Говорят, что, когда вор крадет у вора, черт хохочет. Родители моих учеников купались в богатстве, приобретенном бог весть каким способом; то были придворные, финансисты, крупные негоцианты, банкиры, дельцы; я и целая толпа других, которых они держали на своей службе, помогали им возвращать присвоенное. В природе все виды животных пожирают друг друга; в обществе друг друга пожирают все сословия. Мы вершим правосудие друг над другом, не прибегая к закону. Когда-то Дешан, а нынче Гимар мстили финансисту за князя; а самой Дешан за финансиста мстят модистка, ювелир, обойщик, белошвейка, жулик,

повар, булочник. Среди всей этой сутолоки только глупец или бездельник терпит урон, никому не досадив, и это вполне справедливо. Отсюда вы видите, что эти исключения из правил всеобщей совести или эти моральные идиотизмы, о которых столько шумят, называя их неправедными доходами, — сущие пустяки и что в конце концов важно лишь иметь правильный глазомер.

Я. Вашим я восхищен.

Он. А нужда! Голос совести и чести звучит весьма слабо, когда желудок вопит вовсю. Как бы то ни было, если я когда-нибудь разбогатею, мне тоже придется возвращать нажитое, и я твердо решил, что прибегну тогда ко всем возможным способам — еде, игре, вину, женщинам.

Я. Но я боюсь, что вы никогда не разбогатеете.

Он. Подозреваю, что так.

Я. Но если бы вы разбогатели, что бы вы стали делать?

Он. То, что делают вес разбогатевшие нищие: я стал бы самым наглым негодяем, какого только видел свет. Тут-то я и припомнил бы все, что вытерпел от них, и уж вернул бы сторицей. Я люблю приказывать, и я буду приказывать.

Я люблю похвалы, и меня будут хвалить. К моим услугам будет вся Вильморьенова свора, и

н им скажу, как говорили мне: «Ну, мошенники, забавляйте меня», — и меня будут забавлять; «Раздирайте в клочья порядочных людей», — и их будут раздирать, если только они не вывелись. И потом у нас будут девки, мы перейдем с ними на ты, когда будем пьяны; мы будем напиваться, будем врать, предадимся всяким порокам и распутствам; это будет чудесно. Мы докажем, что Вольтер бездарен, что Бюффон всего-навсего напыщенный актер, никогда не слезающий с ходуль, что Монтескье всего-навсего остроумен; д'Аламбера мы загоним в его математику. Мы зададим жару всем этим маленьким Катонам вроде вас, презирающим нас из зависти, скромным от гордости и трезвым в силу нужды. А музыка! Вот когда мы займемся ею!

Я. По тому достойному применению, которое вы нашли бы своему богатству, я вижу, какая это жалость, что вы нищий. Вы бы стали вести жизнь, делающую честь всему роду человеческому, весьма полезную для ваших соотечественников, полную славы для вас.

Он. Кажется, вы смеетесь надо мной, господин философ; но вы не знаете, с кем вы шутите; вы не подозреваете, что в эту минуту я воплощаю в себе самую важную часть города и двора. Наши

богачи всех разрядов, может быть, и говорили себе, а может быть, не говорили всего того, в чем я признался вам; но бесспорно, что жизнь, которую я стал бы вести на их месте, точь-в-точь соответствует их жизни. Вы, господа, воображаете, что одно и то же счастье годится для всех. Что за странное заблуждение! Счастье, по-вашему, состоит в том, чтобы иметь особое мечтательное направление ума, чуждое нам, необычный склад души, своеобразный вкус. Эти странности вы украшаете названием добродетели, именуете философией, но разве добродетель или философия созданы для всех? Кто может, пусть владеет ими, пусть их бережет. Только представить себе мир мудрым и философичным — согласитесь, что он был бы дьявольски скучен. Знаете — да здравствует философия, да здравствует мудрость Соломона: пить добрые вина, обжираться утонченными яствами, жить с красивыми женщинами, спать в самых мягких постелях, а все остальное — суета.

Я. Как! А защищать свое отечество?

Он. Суета! Нет больше отечества: от одного полюса до другого я вижу только тиранов и рабов.

Я. А помогать своим друзьям?

Он. Суета! Разве есть у нас друзья? А если бы они и были, стоило бы делать из них неблагодарных

людей? Присмотритесь хорошенько — и вы увидите, что к этому обычно и приводят оказанные услуги. Признательность есть бремя, а всякое бремя для того и создано, чтобы его сбросить.

Я. А занимать положение в обществе и исполнять свои обязанности?

Он. Суета! Экая важность, есть ли положение или нет — лишь бы быть богатым: ведь положение только для того и занимаешь. Исполнять обязанности — к чему это ведет? К зависти, к волнениям, к преследованиям. Разве так идут в гору? Надо прислуживаться, черт возьми! Надо прислуживаться, ездить к знатным особам, изучать их вкусы, потакать их прихотям, угождать порокам, одобрять несправедливость — вот в чем секрет.

Я. А заниматься воспитанием своих детей?

Он. Суета! Это же дело наставника.

Я. Но ежели этот наставник, набравшись ваших правил, пренебрежет своим долгом — кто понесет наказание?

Он. Ей-богу, не я, а, может быть, муж моей дочери или жена моего сына.

Я. А если и тот и другая погрязнут в разврате и пороках?

Он. Это будет естественно в их положении. Я. Если они себя опозорят?

Он. При богатстве что бы ни сделать — нельзя опозорить себя.

Я. Если они разорятся?

Он. Тем хуже для них!

Я. Я вижу, что, если вы отказываетесь наблюдать за поведением вашей жены, ваших детей, ваших слуг, вы легко можете пренебречь и вашими делами.

Он. Простите, иногда трудно бывает раздобыть деньги, и благоразумие велит заранее подумать об этом.

Я. Вы мало стали бы заботиться о вашей жене?

Он. Совсем не стал бы, с вашего разрешения. Лучший способ обращения со своей дражайшей половиной — это, как мне кажется, делать то, что ей по нраву. Как, по-вашему, не скучно ли было бы смотреть на общество, если бы каждый исполнял там свои обязанности?

Я. Почему же скучно? Когда я доволен моим утром, тогда и вечер бывает для меня особенно хорош.

Он. Также и для меня.

Я. Если светские люди так прихотливы в выборе своих развлечений, то это — от полной своей праздности.

Он. Не думайте этого: они много суетятся.

Я. Так как они никогда не устают, то никогда и не отдыхают.

Он. Не думайте этого: они вечно переутомлены.

Я. Для них удовольствие — это всегда занятие, а не потребность.

Он. Тем лучше: потребность всегда в тягость.

Я. Они всем пресыщаются. Душа у них тупеет, скука ею овладевает. Тот, кто отнял бы у них жизнь среди этого тягостного изобилия, удружил бы им: им знакома лишь та доля счастья, что притупляется скорее всего. Я не презираю чувственных наслаждений: и у меня есть небо, которому доставляет удовольствие изысканное кушанье или прекрасное вино; и у меня есть сердце и есть глаза, и мне приятно смотреть на красивую женщину, приятно чувствовать под моей рукой ее упругую и округлую грудь, прильнув к ее губам, пить сладострастие в ее взорах, замирать в ее объятиях. Меня не смущает и пирушка с друзьями, пусть даже немного буйная. Но я не скрою от вас, что мне бесконечно сладостнее оказать помощь несчастному, благополучно окончив в его пользу какое-нибудь кляузное дело, подать спасительный совет, прочесть занимательную книгу, совершить прогулку

в обществе друга или женщины, близкой моему сердцу, провести несколько часов в занятиях с моими детьми, написать удачную страницу, исполнить общественный долг, сказать той, кого я люблю, несколько слов, таких ласковых и нежных, что руки ее обовьются вокруг моей шеи. Есть поступки, ради которых я отдал бы все мое достояние. Великое произведение — «Магомет», но я предпочел бы смыть пятно с памяти Каласов. Один мой знакомый искал убежища в Картахене, то был младший сын в семье, и, по обычаям его родины, все наследство переходило к старшим. В Картахене он узнает, что его старший брат, баловень семьи, отнял у отца и матери, слишком снисходительных к нему, все, что у них было, выгнал их из родового замка и что добрые старики томятся в бедности в каком-то маленьком городке. Что же делает этот младший сын, с которым родители обращались сурово и который поехал искать счастья на чужбине? Он посылает им деньги, спешит устроить свои дела, возвращается богатым, водворяет отца и мать в их доме, выдает замуж сестру. Ах, мой дорогой Рамо, и это время он считал самым счастливым в своей жизни; он говорил о нем со слезами на глазах, и я, рассказывая вам о нем, чувствую, как сердце мое трепещет

от восторга и от радости прерывается речь.

Он. Странные вы существа!

Я. А вы существо, достойное сожаления, если нам непонятно, что над своей судьбой можно возвыситься и что нельзя быть несчастным, если ты совершил такие поступки, как эти.

Он. С подобным видом счастья мне было бы нелегко освоиться, ибо оно встречается редко. Так, вы говорите, следует быть честным?

Я. Чтобы быть счастливым — конечно!

Он. Между тем я вижу бесконечное множество честных людей, которые несчастливы, и бесконечное множество людей счастливых и нечестных.

Я. Вам так кажется.

Он. И не оттого ли, что во мне один раз заговорили здравый смысл и искренность, сегодня вечером мне некуда пойти поужинать?

Я. О нет, это потому, что они не всегда в вас говорили, потому, что вы не почувствовали в свое время необходимости обеспечить себе независимое существование, чуждое рабства.

Он. Зависимое оно или независимое, но то, которое я веду, по крайней мере, наиболее удобное.

Я. И наименее надежное и наименее почтенное.

Он. Но наиболее соответствующее моему нраву — бездельника, глупца и негодяя.

Я. Согласен.

Он. И раз уж я могу составить свое счастье пороками, свойственными мне, приобретенными без труда, не требующими усилий для того, чтобы их сохранить, — пороками, отвечающими нравам моего народа, приходящимися по вкусу моим покровителям и более соответствующими их мелким личным нуждам, чем добродетели, которые стесняли бы их, потому что с утра до вечера служили бы им укором, то было бы весьма странно, если бы я стал себя терзать, как грешника в аду, лишь бы исковеркать и переиначить себя, лишь бы придать себе не свойственные мне черты, качества, которые я согласен признать во избежание спора весьма почтенными, но которые очень трудно было бы приобрести и применять, которые не привели бы ни к чему, быть может, даже хуже, чем ни к чему, ибо они явились бы постоянной насмешкой над богачами, у которых кормятся нищие вроде меня. Добродетель хвалят, но ее ненавидят, от нее бегут, она леденит, а между тем в этом мире ноги следует держать в тепле. И к тому же все это неминуемо привело бы меня в дурною расположение духа. Ведь отчего

столь часто бывает, что благочестивые люди так черствы, так несносны, так необщительны? Причина в том, что они поставили перед собой цель, их природе не свойственную; они страдают, а когда страдаешь, то заставляешь страдать и других то-то не входит ни и мои намерения, ни в намерения моих покровителей: мне надо быть веселым, податливым, забавным, шутливым, смешным. Добродетель заставляет себя уважать, а уважение — вещь неудобная; добродетель заставляет восхищаться, а восхищение — вещь невеселая. Н имею дело с людьми скучающими, и я должен их смешить. Л смешат нелепости и сумасбродства — значит, мне надлежит быть нелепым н сумасбродным, а если бы природа не создала меня таким, всего проще было бы таким притвориться. К счастью, мне нет надобности лицемерить, ведь лицемеров и так уж много, притом всех мастей, не считая тех, кто лицемерит с самим собою. Возьмите шевалье де Ла Морльера — шляпа у него сдвинута на ухо, голову он задирает, смотрит на вас через плечо, на боку у него болтается длиннейшая шпага, для всякого, кто этого и не ждет, у него готово оскорбление, и кажется, будто он каждому встречному хочет бросить вызов. А для чего? Все для того, чтобы

убедить себя в собственной храбрости. Но он трус. Дайте ему щелчок но носу, и он со всей кротостью примет его. Хотите заставить его понизить тон? Повысьте голос сами, пригрозите ему тростью или двиньте ему коленом в зад. Сам удивившись, что он трус, он спросит вас, кто вам это сказал, от кого вы это узнали; минуту тому назад он сам этого не знал; обезьянья игра в храбреца, ставшая для него давней привычкой, внушила ему высокое о себе мнение: он так долго разыгрывал роль, что принял ее за правду. А вот женщина, которая умерщвляет свою плоть, посещает узников, участвует во всех благотворительных обществах, ходит с опущенными глазами, никогда не посмотрит мужчине в лицо, вечно опасаясь соблазна для собственных чувств, — разве все это может помешать тому, что сердце ее пылает, что вздохи вырываются из ее груди, что страсть ее разгорается, что желание преследует ее и что воображение рисует ей ночью сцены из «Монастырского привратника» или позы из Аретино? Что творится с ней тогда? Что думает о ней ее горничная, вскакивая в одной рубашке с постели и бросаясь на помощь к своей «умирающей» госпоже? Идите спать, Жюстипа, не вас в своем бреду зовет ваша госпожа!

А если бы наш друг Рамо в одни прекрасный день стал выказывать презрение к богатству, к женщинам, к вкусной еде, к безделью и разыгрывать Катона, кем бы он оказался? Лицемером. Рамо должен быть таким, каков он есть, — счастливым разбойником среди разбойников богатых, а не кричащим о своей добродетели, или даже добродетельным человеком, грызущим корку хлеба в одиночестве и вместе с другими нищими. И чтобы уж все сказать напрямик, меня не устраивает ни ваше благополучие, ни счастье мечтателей — таких, как вы.

Я Я вижу, дорогой мой, что вы и не знаете, что это такое и даже не способны это узнать.

Он. Тем лучше, черт побери, тем лучше. Иначе я подох бы с голоду, со скуки и, может быть, от угрызении совести.

Я. Так, единственный совет, какой я могу вам дать — это поскорее возвратиться в тот дом, откуда вас выгнали из-за вашей опрометчивости.

Он. И делать то, что в прямом смысле вы не порицаете и что немного мне претит в переносном?

Я. Я вам советую.

Он. И невзирая на ту метафору, что мне сейчас не по вкусу, а в другой раз может прийтись и

по вкусу.

Я Что за странности!

Он Тут нет ничего странного: я готов быть гнусным, но не хочу чтобы это было по принуждению. Я готов пожертвовать достоинством… Вы смеетесь?

Я. На ваше достоинство меня смешит.

Он. У каждого свое. О моем я готов забыть, но по своей собственной воле, а не по чужому приказанию. Допустимо ли чтобы мне сказали: «Пресмыкайся!»– и чтобы я был Обязан пресмыкаться! Это свойственно червю, свойственно мне мы оба пресмыкаемся, когда нам дают волю, но мы выпрямляемся, когда нам наступят на хвост; мне наступи на хвост, и я выпрямился. К тому же вы не имеете представления о том, что это за отвратительнейшая кунсткамера Вообразите меланхолика и угрюмца, терзаемого недугами, наглухо закутавшегося в халат, противного самому себе, да ему и все противно; у него с трудом вызовет улыбку, хотя бы ты на тысячу ладов изощрялся тело и умом; он остается равнодушен к тому, как забавно кривляется мое лицо и еще забавнее кривляется моя мЫсль а ведь, между нами говоря, даже отец Ноэль, этот гадкий бенедиктинец, столь известный своими грима-

сами несмотря на весь свой успех при дворе. По сравнению со мной жалкий деревянный паяц. Как я ни бьюсь, чтобы достигнуть совершенства обитателей сумасшедших домов, ничто не помогает Засмеется? Не засмеется?»– вот о чем я спрашиваю себя когда извиваюсь перед ним, и вы сами посудите, как вредна для таланта подобная неуверенность. Мои ипохондрик, когда нахлобучит на голову ночной колпак, закрывающий ему глаза, напоминает неподвижного китайского болванчика, у которого к подбородку привязана нитка, спускающаяся под кресло. Ждешь, что нитка дернется, а она не дергается, а если и случится, что челюсти раздвинутся, то только для того, чтобы произнести слово, повергающее вас в отчаяние, слово, дающее вам знать, что вас не заметили и что все ваши ужимки пропали даром. Это слово служит ответом на вопрос, который вы, например, задали ему четыре дня тому назад; когда оно сказано, механизм ослабевает и челюсти закрываются.

И тут он начал передразнивать этого человека. Он сел на стул, не двигая головой, нахлобучил шапку по самые брови, свесил руки и, точно автомат, двигая челюстями, произнес: «Да, вы правы, сударыня, тут нужна хитрость».

— Он все время что-нибудь решает, все решает, и при том безапелляционно, решает вечером, утром, за туалетом, за обедом, за ужином, за кофе, за игрой, в театре, в постели и, да простит мне бог, кажется, даже в объятиях своей любовницы. Эти последние решения я не имею возможности услышать, но от остальных я дьявольски устал… Хмурый, унылый, непреклонный, как сама судьба, — вот каков наш патрон.

Против него сидит недотрога, напускающая на себя важность, особа, которой можно было бы решиться сказать, что она хороша собой, ибо она еще в самом деле хороша, хотя на лице ее то тут, то там пятна, и она своим объемом стремится превзойти госпожу Бувийон. Я люблю телеса, когда они хороши, но чрезмерность — всегда чрезмерность, а движение так полезно для материи! Iten, она злее, надменнее и глупее гусыни. Item, она претендует на остроумие. Item, требуется ее уверять, что ее-то и считаешь самой остроумной. Item, она ничего не знает и тоже все решает. Item, ее решениям должно аплодировать и ногами и руками, скакать от восторга и млеть от восхищения: «Как это прекрасно, как тонко, как метко сказано, как удачно подмечено, как необыкновенно прочувствовано! И откуда только

женщины это берут? Не изучая, только благодаря чутью, благодаря природному уму! Это похоже на чудо! Пусть после этого нам говорят, что опыт, науки, размышление, образование что-то значат!..» И еще и еще повторять подобные глупости и плакать от радости, десять раз на дню сгибаться, склонив перед ней одно колено, а другую ногу вытянув назад; простирая руки к богине, угадывать по глазам ее желания, ловить движения ее губ, ждать ее приказов и бросаться их исполнять с быстротою молнии. Кто захочет унизиться до такой роли, кроме жалкого существа, которое раза два или три в неделю найдет там, чем успокоить свои мятущиеся кишки? И что подумать о других, о таких, как Палиссо, Фрерои, Пуансине, Бакюлар, у которых кое-какие средства есть и подлость которых нельзя извинить урчанием голодного брюха?

Я. Я бы никогда не подумал, что вы так строги.

Он. Я и не строг. Сперва я смотрел, как делают другие, и делал то же, что они, даже несколько лучше их, ибо я откровеннее в моей наглости, лучше разыгрываю комедию, больше изголодался и легкие у меня лучше. Я, очевидно, по прямой линии происхожу от славного Стентора…

И чтобы дать мне верное представление о мо-

щи этого своего органа, он принялся кашлять с такой силой, что стекла в кафе задребезжали, а шахматисты отвлеклись от своих досок.

Я. Но что за прок от этого таланта?

Он. Вы не догадываетесь?

Я. Нет, я соображаю несколько туго.

Он. Представьте, что завязался спор и еще неясно, на чьей стороне победа; вот я и встаю и с громовым раскатом в голосе говорю: «Сударыня, вы совершенно правы… вот что называется правильным суждением! Держу сто против одного: никто из наших остряков с вами не сравнится. Это выражение просто гениально». Но одобрение не следует выказывать всегда одним и тем же способом: это было бы однообразно, показалось бы неискренним, превратилось бы в пошлость. На помощь тут являются сообразительность, изобретательность; надо уметь подготовить и к месту пустить в ход мажорный решительный тон, уловить случай и минуту. Так, например, когда в чувствах и мнениях полный разброд, когда спор достиг крайней степени ожесточения, когда больше не слушают друг друга и все говорят зараз, надо стать в углу, наиболее отдаленном от поля битвы, подготовиться к взрыву продолжительным молчанием и внезапно бомбой обрушиться

на спорящих: никто не владеет этим искусством так, как я. Но в чем я неподражаем, так это в совсем иных вещах — у меня есть и мягкие тона, которые я сопровождаю улыбкой, бесконечное множество ужимок одобрения: тут работают и нос, и рот, и лоб, и глаза; я отличаюсь особой гибкостью поясницы, особой манерой выгибать спину, поднимать или опускать плечи, вытягивать пальцы, наклонять голову, закрывать глаза и разыгрывать изумлении, как будто некий ангельский и божественным голос прозвучал мне с неба, вот это больше всего и льстит. Не знаю, улавливаете ли вы всю силу этой последней позы; изобрел ее' не н, но никто но превзошел меня в ее применении. Вот — смотрит», смотрите.

Я. Согласен: это нечто единственное в своем роде.

Он. Считаете ли вы возможным, чтобы мозги тщеславной женщины против этого устояли?

Я. Нет. Следует признать, что талант шута н способность унижаться вы довели до предела совершенства.

Он. Как бы они ни старались, сколько бы их ни было, им до этого не дойти никогда: так, лучший среди них, Налицо, всегда останется лишь добросовестным учеником. Но если вначале иг-

рать эту роль бывает забавно и ты испытываешь известное удовольствие, издеваясь про себя над глупостью тех, кого морочишь, то в конце концов острота ощущений теряется, а потом, после нескольких выдумок, приходится повторяться: остроумие и искусство имеют границы; лишь для господа бога да нескольких редких гениев дорога расширяется по мере того, как они идут вперед. К таким гениям, пожалуй, принадлежит Буре. Про него рассказывают вещи, которые мне, да, даже мне, внушают на его счет самое высокое мнение. Собачка, книга счастья, факелы по дороге в Версаль — все это меня поражает и устыжает; так может пропасть охота к собственному ремеслу.

Я. О какой это собачке вы говорите?

Он. Да откуда вы свалились? Как! Вы и в самом деле не знаете, что сделал этот необыкновенный человек, чтобы отвадить от себя собачку и приручить ее к хранителю королевской печати, которому она нравилась?

Я. Не знаю, должен покаяться.

Он. Тем лучше. Ничего более блестящего нельзя себе и представить: вся Европа была в восхищении, и нет придворного, который не испытал бы зависти. Вот вы не лишены находчивости, — посмотрим, как бы вы на его месте взялись за дело.

Примите в соображение, что собака любила Буре, что странный наряд министра пугал маленькое животное, что Буре располагал одной только неделей, чтобы преодолеть все трудности. Надо знать все условия задачи, чтобы по достоинству оценить ее решение. Ну, что дальше?

Я. Что дальше? Должен вам признаться, в подобных делах даже и самые легкие вещи ставят меня в тупик.

Он. Слушайте же (при этом он слегка ударил меня по плечу с обычной своей фамильярностью), слушайте и восторгайтесь. Буре заказывает себе маску, которая напоминает лицо хранителя королевской печати, добывает через камердинера его пышную мантию, надевает маску, облачается в мантию, зовет собачку, ласкает ее, дает ей пирожок; затем внезапная перемена декораций — и уже не хранитель королевской печати, а Буре зовет свою собачку и бьет ее. Через каких-нибудь два-три дня таких непрерывных упражнений — с утра и до вечера — собачка приучается убегать от Буре — финансиста и льнуть к Буре — хранителю королевской печати. Но я слишком уж добр, вы — профан, не заслуживающий того, чтобы вас посвящали в чудеса, совершающиеся тут же, рядом с вами.

Я. И все-таки, прошу вас, расскажите про книгу и про факелы.

Он. Нет, нет. Обратитесь к первому встречному, который вам это расскажет, и пользуйтесь случаем, который нас свел, чтобы узнать такие вещи, каких не знает никто, кроме меня.

Я. Вы правы.

Он. Достать мантию и парик — да, я забыл про парик хранителя печати! Заказать маску, напоминающую его лицо! Маска меня особенно восхищает. Недаром этот человек пользуется величайшим почетом, недаром он имеет миллионы. Есть кавалеры креста Людовика Святого, сидящие без куска хлеба, но к чему же и гоняться за крестом, рискуя свернуть себе шею, когда можно заняться безопасным делом на таком поприще, где всегда обеспечена награда! Вот что называется широкий размах. Но такие примеры повергают в уныние; становится жалко самого себя, и делается тоскливо. Ах, маска, маска! Я дал бы отрезать себе палец, лишь бы додуматься до этой маски.

Я. Но неужели же с вашей страстью ко всяким прекрасным вещам и при вашей легкости на выдумки вы ничего не изобрели?

Он. Прошу прощения. Вот, например, подобо-

страстный изгиб спины, о котором я вам говорил, я рассматриваю почти как свой, хотя завистники, быть может, и будут оспаривать его у меня. Разумеется, им пользовались и до меня, но разве кто-нибудь заметил, как он удобен, чтобы снизу посмеиваться над наглецом, которому выражаешь свое восхищение! У меня более ста приемов, как приступить к обольщению молодой девицы в присутствии ее матери, причем та и не заметит и даже окажется моей пособницей. Едва я вступил на это поприще, как уже отверг все пошлые способы вручения любовных записок; у меня есть десять способов заставить вырывать их у меня из рук, и смею похвастаться, что есть способы и совсем новые. Главное же — у меня талант подбодрить застенчивого молодого человека; благодаря мне добивались успеха и такие, у которых не было ни ума, ни счастливой внешности. Если бы все это написать, за мной признали бы известное дарование.

Я. Вы прославились бы в своем роде?

Он. Не сомневаюсь.

Я. На вашем месте н все это набросал бы на бумаге. Жаль, если это пропадет.

Он. Да, верно; но вы не подозреваете, как мало значения я придаю методе и всяким наставле-

ниям! Кто нуждается в протоколах, далеко не пойдет: гении читают мало, делают много и сами создают себя. Возьмите Цезаря, Тюренна, Вобана, маркизу де Тансен, ее брата, кардинала, и его секретаря, аббата Трюбле. А Буре? Кто давал уроки Буре? Никто. Этих редкостных людей создает сама природа. Или вы думаете, что история собачки и маски где-нибудь записана?

Я. Но в часы досуга, когда томление пустого желудка или усталость желудка переполненного гонят от вас сон…

Он. Я об этом подумаю. Лучше писать о великих вещах, чем заниматься мелкими. Тогда душа возносится вверх, воображение возбуждается, воспламеняется и раздается вширь; зато оно суживается, когда в присутствии маленькой Юс мы выражаем удивление по поводу аплодисментов, упрямо расточаемых глупой публикой этой жеманнице Данжевиль, которая играет так пошло, сгибается чуть ли не пополам, когда ходит по сцене, так неестественно все время заглядывает в глаза тому, к кому обращается, сама же занята другим и свои гримасы принимает за некую тонкость, а семенящую походку — за грацию, или напыщенной Клерон, такой худощавой, такой вычурной, такой искусственной и натяну-

той, что нельзя и передать. Этот дурацкий партер хлопает им без всякого удержу и не замечает, что мы-то и составляем собрание прелестей. Правда, эти прелести несколько растолстели, но что в том? У нас самая красивая кожа, самые красивые глаза, самый хорошенький носик; правда, мало души да походка не слишком легкая, но все же и не столь неуклюжая, как говорят некоторые. Зато что касается чувства, то тут мы каждую заткнем за пояс.

Я. Как понимать все это? Смеетесь вы или говорите всерьез?

Он. Беда в том, что это чертово чувство скрывается в самой глубине и даже отблеск его не проникает наружу.

Но я-то, когда говорю, я знаю, и хорошо знаю, что оно у нее есть. Если оно и не совсем настоящее, то все те вроде настоящего. Надо видеть, как мы обращаемся с лакеями, когда бываем не в духе, какие пощечины закатываем горничным, какие пинки даем «Особым поступлениям», если они хоть чуть-чуть отступают от угодной нам почтительности. Это, уверяю вас, чертенок, преисполненный чувства и достоинства… Но вы, кажется, не возьмете в толк, что и думать?

Я. Сознаюсь, не могу разобраться, о» чистого ли

сердца или по злобе вы так говорите. Я — человек простой, уж благоволите объясняться прямее и ост"вить ваше красноречие...

Он. Это то, что мы излагаем нашей маленькой Юс насчет Данжевиль и Клерон, кое-где вставляя и смелое словечко. Принимайте меня за негодяя, не за глупца, хоть вам и ясно, что наговорить всерьез столько нелепостей мог бы только глупец или человек, по уши влюбленный.

Я. Но как хватает у вас дерзости говорить такие вещи?

Он. Этого добиваешься не сразу, но мало-помалу до этого доходишь. Ingenii largitor vented.

Я. Надо быть уж очень голодным.

Он. Пожалуй. Но какими бы невероятными вам ни казались все эти нелепости, поверьте, что те, к кому мы с ними обращаемся, еще больше привыкли их слышать, чем мы — говорить.

Я. Неужели у кого-нибудь найдется смелость разделять ваше мнение?

Он. Что значит «у кого-нибудь»? Так думает и говорит все общество.

Я. Те из вас, что не настоящие негодяи, должно быть, настоящие дураки.

Он. Дураки? Уверяю вас, только один и есть — тот, который чествует нас за то, что мы ее

морочим.

Я. Но как это можно допустить, чтобы тебя так грубо морочили? Ведь превосходство талантов Данжевиль или Клерон не подлежит сомнению.

Он. Ложь, лестную для тебя, выпиваешь залпом, а правду, если она горька, пьешь по каплям. К тому же тон у нас такой проникновенный, такой искренний…

Я. Но, наверно, вам все-таки случалось иногда грешить против правил вашего же искусства н у вас хоть ненароком вырывались горькие и оскорбительные истины: ведь, несмотря на ту презренную, мерзкую, низкую, отвратительную роль, которую вы играете, душа у вас, в сущности, чувствительная, как мне кажется.

Он. У меня? Ничуть. Черт меня побери, если я знаю, кто я, в сущности, такой! Вообще ум у меня круглый, как шар, а нрав гибкий, как ива. Я никогда не лгу, если только мне выгодно говорить правду; никогда не говорю правды, если мне только выгодно лгать. Я говорю то, что мне взбредет в голову; если это умно — тем лучше, если несуразно — на это не обращают внимания. Я и пользуюсь этой свободой. Никогда в жизни я не раздумывал ни перед тем, как заговорить, ни в то время, когда говорю, ни после того, как я уже

сказал; зато на меня никто и не обижается.

Я. Но все же это с вами случилось у тех добрых людей, у которых вы жили и которые были к вам так благосклонны.

Он. Что поделаешь? То было несчастье, злоключение, какие порой происходят в жизни; вечного благополучия не существует; мне было слишком хорошо, и так не могло продолжаться. Как вам известно, у нас бывает общество самое многолюдное и самое отборное. Это просто какая-то школа человеколюбия, возрождение древнего гостеприимства. Все поэты, потерпевшие провал, подбираются нами, был у нас налицо после своей «Зары», Брет после «Мнимого благодетеля», все осрамившиеся музыканты, все писатели, которых никто не читает, все освистанные актрисы, все ошиканные актеры, целая куча бедняков, пристыженных, жалких паразитов, во главе которых я имею честь стоять, храбрый вождь трусливого войска. Это я приглашаю их к столу, когда они приходят в первый раз, я приказываю подать им вина. А они занимают так мало места! Есть тут какие-то юноши в лохмотьях, не знающие, куда им податься, но у них счастливая внешность; есть и подлецы, которые лебезят перед хозяином и усыпляют его, чтобы потом поживиться прелестя-

ми хозяйки. На вид мы веселые, но, в сущности, мы все злимся и очень хотим есть. Волки не так голодны, как мы, тигры не так свирепы. Все, что нам попадается, мы пожираем, как волки после снежной зимы, раздираем на части, как тигры, всех, кто преуспел. Иногда собираются вместе шайки Вертепа, Монсожа и Вильморьена — вот когда в зверинце поднимается шум! Нигде не увидишь такого множества унылых, сварливых, злых и ожесточенных зверей. Тут только и слышишь что имена Бюффона, Дюкло, Монтескье, Руссо, Вольтера, д'Аламбера, Дидро. И одному богу ведомо, какими эпитетами они сопровождаются! Умен лишь тот, кто так же глуп, как мы. План «Философов» зародился там, сцену с разносчиком придумал я в подражание «Теологии по-бабьи». Вас там щадят не больше, чем других.

Я. Тем лучше! Может быть, мне даже оказывают больше чести, чем я заслуживаю. Мне было бы стыдно, если бы те, кто дурно говорит о стольких замечательных и честных людях, хорошо отозвались обо мне.

Он. Нас много, и каждый должен принести свою дань. После заклания крупных животных мы расправляемся и с прочими.

Я. Поносить науку и добродетель ради куска

хлеба! Дорого же он вам достается.

Он. Я вам говорил уже, что с нами не считаются. Мы всех ругаем, но никого не обижаем. Иногда нас посещают грузный аббат д'0ливе, толстый аббат Ле Блан, лицемер Батте; толстый аббат бывает сердит лишь до обеда. Выпив кофе, он разваливается в кресле, упирается ногами в решетку камина и засыпает, как старый попугай на своей жерди. Если шум слишком уж усиливается, он позевывает, потягивается, трет себе глаза и спрашивает: «А? Что такое? Что такое?»-«Речь о том, остроумнее ли Пирон, чем Вольтер?» — «Давайте условимся: речь, значит, идет об остроумии? Не о вкусе? Ведь о вкусе ваш Пирон не имеет и понятия». — «Не имеет...» И вот мы пускаемся в рассуждения о вкусе. Тут хозяин делает рукою знак, чтобы его слушали, ибо вкус — его конек. «Вкус, — говорит он, — вкус — это такая вещь...» Не знаю уж, ей-богу, что это за вещь, да и он не знает.

Иногда у нас бывает дружище Роббе; он угощает нас своими двусмысленными рассказами, чудесами, которые у него на глазах совершали исступленные фанатики, да чтением песен из своей поэмы на сюжет, известный ему до тонкости. Я терпеть не могу его стихов, но люблю

слушать, как он их читает; он похож тогда на бесноватого. Все кругом восклицают: «Вот что называется поэт!» Между нами говоря, эта поэзия не что иное, как смесь всякого рода беспорядочных звуков, дикое бормотанье, словно у обитателей Вавилонской башни.

Посещает нас и некий простачок, на вид пошлый и глупый, но умный, как черт, и притом хитрее старой обезьяны. Это одно из тех лиц, которые навлекают на себя шутки и щелчки по носу и которых господь создал в назидание людям, судящим по внешности, хотя и зеркало могло бы научить их тому, что быть умным человеком, а походить на глупца — дело столь же обычное, как прятать глупость под личиной ума. Широко распространенная подлость состоит в том, что какого-нибудь простака выставляют на посмешище; желая позабавить гостей, мы тоже все время обращаемся к нашему простаку; это — ловушка, которую мы расставляем всем вновь прибывшим, и почти каждый в нее попадался.

У этого чудака Рамо меня иной раз поражала меткость наблюдений над людьми и их характерами, и я ему это высказал.

— Дело в том, — ответил он мне, — что из дурной компании, так же как и из разврата, из-

влекается некоторая выгода; утрата невинности вознаграждается утратой предрассудков. В обществе злых людей, где норок выступает без маски, мы по-настоящему и распознаем предрассудки; кроме того, я кое-что читал.

Я. Что же вы читали?

Он. Я читал, читаю и беспрестанно перечитываю Феофраста, Лабрюйера и Мольера.

Я. Превосходные книги.

Он. Они гораздо лучше, нежели думают. Только кто умеет их читать?

Я. Все в меру своих умственных сил.

Он. Почти никто не умеет. А можете вы мне. сказать, чего в них ищут?

Я. Развлечения и поучения.

Он. Но какого поучения? Ведь все дело в этом.

Я. Познания своих обязанностей, любви к добродетели, ненависти к пороку.

Он. Я-то извлекаю из них все, что следует делать, и все, чего не следует говорить. Так, когда я читаю «Скупого», я говорю себе: будь скуп, если хочешь, но остерегайся говорить как скупой. Когда я читаю «Тартюфа», я говорю себе: будь, если хочешь, лицемером, но не говори как лицемер. Сохраняй пороки, которые тебе полезны, но избегай сопутствующего им тона и внешнего вида,

которые могут сделать тебя смешным. Чтобы обезопасить себя от этого тона, от этого внешнего вида, надо их знать, а указанные авторы превосходно их изобразили. Я — это я, и я остаюсь тем, чем являюсь, но я действую и говорю, как подобает порядочному человеку. Я не из тех людей, что презирают моралистов; можно много полезного получить от них, особенно от тех, которые свою мораль приводят в действие. Порок раздражает людей лишь от случая к случаю, а внешние его черты раздражают их с утра до вечера. Пожалуй, лучше быть наглецом, чем иметь внешность наглеца: наглец по складу характера раздражает только время от времени, наглец по внешнему виду раздражает всегда. Не подумайте, впрочем, чти я единственный читатель в таком роде; моя заслуга здесь только в том, что я благодаря системе, точному суждению, разумному и правильному взгляду делаю то, что большинство делает просто по чутью. Поэтому от чтения они не становятся лучше меня, а остаются смешными, несмотря на него, между тем как я бываю смешон, лишь когда хочу, и тогда я оставляю их далеко позади себя, ибо искусство, которое учит меня, как в одних случаях не быть смешным, в других учит меня успешно вызывать смех. Тогда

я вспоминаю все, что говорили другие, что я сам читал, и к этому прибавляю то, что извлекаю из собственного источника, а он в этом смысле поразительно щедр.

Я. Вы хорошо сделали, что открыли мне эти тайны, иначе я бы решил, что вы сами себе противоречите.

Он. Отнюдь нет, ибо на один случаи, когда не следует быть смешным, приходится, к счастью, сто случаев, когда следует смешить. Нет лучшей роли при сильных мира сего, чем роль шута. Долгое время существовало звание королевского шута, но никогда не было звания королевского мудреца. Что до меня, то я шут Бертена и многих других, может быть, в эту минуту и ваш, или, может быть, вы — мой шут. Кто мудр, не стал бы держать шута; следственно, тот, кто держит шута, не мудр; если он не мудр, он сам шут и, будь он королем, он, пожалуй, был бы шутом своего шута. Впрочем, помните, что в области столь изменчивой, как нравы, нет ничего верного или ложного в полном, существенном, всеобъемлющем смысле слова, кроме того, что следует быть таким, каким выгодно быть, то есть добрым или злым, мудрецом или шутом, благопристойным или смешным, честным или порочным. Если бы слу-

чайно добродетель могла привести к богатству, т или был бы добродетелен, или притворялся бы добродетельным, как другие. Меня хотели видеть смешным — и я стал смешным. Что до порочности, то ею я обязан одной только природе. Когда я говорю о порочности, то я пользуюсь вашим языком, ибо, если бы мы могли понять друг друга, могло бы статься, что вы назвали бы пороком то, что я зову добродетелью, а добродетелью — то, что я зову пороком.

Бывают у нас и авторы из Комичесжой оперы, их актеры и актрисы, а еще чаще их антрепренеры Корби и Моэт, все люди изобретательные и весьма достойные.

Да, еще забыл упомянуть великих литературных критиков, всех этих писак из «Передового гонца», «Листка объявлений», «Литературного года», «"Литературного обо зревателя» и «Еженедельного критика».

Я. «Литературный год»! «Литературный обозреватель»! Да этого но может быть: они друг друга ненавидят.

Он. Верно. Но все нищие мирятся за общим котлом. Этот проклятый «Литературный обозреватель», — черт бы его унес, его и его писания! — этот нес, этот жалкий и жадный аббатишка,

этот зловонный ростовщик — вот кто виновник моего несчастья. На нашем горизонте он показался вчера в первый раз, появился он в тот час, который всех нас заставляет выйти из наших берлог, — в час обеда. Счастлив тот из нас, у кого в дурную погоду найдется двадцать четыре су на извозчика. Бывает, что утром посмеешься над собратом, пришедшим по колено в грязи и промокшим до нитки, а вечером сам возвращаешься в таком виде. Был еще один — уж не помню, кто именно, — но несколько месяцев тому назад он здорово сцепился с шарманщиком-савояром, что обосновался у нашего подъезда; у них были финансовые расчеты; кредитор требовал уплаты долга, а должник оказался не при деньгах.

Но вот подается обед, с аббатом обходятся как с почетным гостем, его сажают на первое место. Я вхожу, замечаю его, говорю: «Как, аббат, вы на председательском месте? Что ж, сегодня так и быть, но завтра не взыщите, вы сядете на один прибор дальше, послезавтра еще на один, и так с прибора на прибор, то вправо, то влево, вы будете отодвигаться до тех пор, пока с того места, где однажды до вас сидел я, однажды после меня — Фрерон, однажды после Фрерона — Дора, однажды после Дора — Налиссо, вы на-

конец бесповоротно пересядете на место рядом со мной, таким же жалким пошляком, как и вы, который siedo sempre come un maestoso cazzo fra duoi coglioni».

Аббат, добрый малый, всегда благодушный, засмеялся; хозяйка дома, пораженная моим замечанием и верностью наблюдения, засмеялась; все сидящие справа и слева от аббата или отодвинутые им на один прибор засмеялись; смеются все, за исключением хозяина, а он сердится и говорит мне слова, которые не имели бы никакого значения, будь мы только вдвоем. «Рамо, вы наглец!» — «Это мне известно, и на этом основании вы приняли меня». — «Вы бездельник». — «Как и все». — «Вы нищий». — «Разве иначе я был бы тут?»-«Я вас прогоню!» — «После обеда я и сам удалюсь». — «Советую вам».

Стали обедать, зубы мои не отдыхали ни минуты. Я славно поел, вдоволь попил — ибо в конце концов это ничего не меняло: господин Желудок — персона, на которую я никогда не дулся, — и, покорившись своей участи, хотел уходить; столько народу слышало мои слова, что их надо было привести в исполнение. Довольно долго я бродил по комнатам, разыскивая мою трость и шляпу там, где их не было, и все еще рассчитывая, что

хозяин разрешится новым потоком ругани, что кое-кто вступится за меня и что в конце концов мы, побранившись, помиримся. Я все вертелся, все вертелся — ведь у меня-то на душе тяжести не было, — но хозяин был мрачнее и грознее, чем Аполлон у Гомера, когда он мечет свои стрелы в греческое войско: он глубже, чем обычно, надвинул свой колпак и расхаживал взад и вперед, подперев кулаками подбородок. Мадемуазель подходит ко мне. «Да что же особенного случилось, сударыня? Разве я нынче был не такой, как всегда?»– «Вам придется уйти». — «Я уйду... Все же я перед ним не виноват». — «Простите: пригласили господина аббата, и...»– «Так это он перед собой и виноват, что пригласил аббата, а в то же время принимает меня и вместе со мной еще стольких бездельников. Я...»– «Ну полно, голубчик, надо попросить прощения у господина аббата». — «На что мне его прощение?» — «Да полно, все это уладится...»

Меня берут за руку, тащат к креслу аббата; я простираю руки, взираю на аббата в некотором изумлении, ибо кто же и когда же просил прощения у аббата? «Аббат, — говорю я ему, — аббат, все это, не правда ли, весело и смешно?» И тут я рассмеялся и аббат тоже. Итак, здесь меня про-

стили, но еще надо было подступиться к тому, другому, а то, что мне предстояло ему сказать, было дело иного сорта. Не помню уж, как я начал мои извинения. «Милостивый государь, вот этот сумасброд…»– «Слишком уж давно я из-за него мучаюсь; я больше слышать не хочу о нем». — «Ему досадно…»– «Да и мне досадно». — «Этого с ним больше не случится». — «Чтобы любой прохвост…»

Уж не знаю, был ли это один из тех дней, когда он так не в духе, что даже сама мадемуазель боится подойти к нему и все старается смягчить, или, может быть, он плохо слышал то, что я говорил, или я плохо сказал, но получилось еще хуже. Ах, черт! Да разве он не понимает, что я — как ребенок и что бывают случаи, когда мне на все наплевать? И потом, да простит меня господь, неужели у меня не будет хоть маленькой передышки! И стальной паяц износился бы, если бы его с утра до вечера и с вечера до утра дергали за веревочку. Я должен разгонять их скуку — таково условие, но надо же и мне когда-нибудь позабавиться. Среди всей этой путаницы в голове у меня пронеслась роковая мысль, наполнившая меня высокомерием, мысль, вселившая в меня гордость и надменность, — мысль о том, что без меня

им не обойтись, что я человек необходимый.

Я. Да, я тоже думаю, что вы им весьма полезны, но что вам они еще полезнее. Другого столь милого дома вам, пожалуй что, и не найти, а они взамен шута, которого им недостает, найдут сотню других.

Он. Сотню таких шутов, как я! Они попадаются вовсе не так часто, господин философ! Пошлые шуты — другое дело. От глупости требуется больше, чем от таланта или добродетели. Я в своей области редкость — да, большая редкость. Теперь, когда меня с ними нет, что они делают? Скучают зверски. Я неистощимый кладезь несуразностей. У меня каждую минуту готова была выходка, смешившая их до слез. Я заменял им целый сумасшедший дом.

Я. Зато вы имели стол, постель, одежду — и камзол, и штаны, и башмаки — и каждый месяц по золотому.

Он. Да, это положительная сторона, барыш; но вы ничего не говорите об обязанностях. Во-первых, как только разносился слух о новой пьесе, приходилось в любую погоду рыскать по всем парижским чердакам, пока я не находил автора, раздобывать рукопись для прочтения и ловко вставлять намек на то, что тут есть роль, которую

как нельзя лучше исполнила бы одна знакомая мне особа. «А кто же это, позвольте узнать?»-«Кто? Милый вопрос! Это сама грация, сама прелесть, изящество». — «Вы имеете в виду госпожу Данжевиль? Вы, может быть, с ней знакомы?»– «Да, немного знаком, но это не она». — «Так кто же?» Я совсем шепотом называл имя. «Она?»– «Да, она!»– повторял я, несколько сконфуженный, ибо и я порой не лишен стыда, и надо было видеть, как при этом имени физиономия поэта вытягивалась, а иной раз мне смеялись прямо в глаза. Однако волей или неволей надо было привести его к обеду, а оп, опасаясь связать себя, жался, отнекивался. И надо бы видеть, как со мной обходились, если эти переговоры не удавались! Тут я оказывался тупицей, олухом, дураком; я ни на что не был годен, я не заслуживал даже стакана воды. Но куда хуже бывало, когда пьесу играли и приходилось среди шиканья публики, а она, что ни говори, судит правильно — бесстрашно, в полном одиночестве хлопать в ладоши, привлекать к себе все взгляды, спасая иногда актрису от свистков, и слышать подле себя шепот: «Это переодетый лакей ее любовника… Да уймется ли этот негодяй?..» Никто не знает, что может толкать на такие поступки; думают, что глупость, а между

тем здесь есть причина, которая извиняет все.

Я. Даже нарушение гражданских законов.

Он. Но под конец меня уже стали знать и говорили:

«О, это Рамо!» Меня могло поручить какое-нибудь ироническое замечание, которое я ронял для того, чтобы (*пасти от насмешки мои одинокие аплодисменты, а его истолковывали в обратном смысле. Согласитесь, что только ради очень большой выгоды можно так издеваться над публикой и что этот тяжкий труд стоил всякий раз дороже какого-нибудь жалкого экю!

Я. Почему вы не брали помощников?

Он. Иногда приходилось, и мне от этого бывала кое-какая выгода. Прежде чем отправиться на место пытки, надо было заучить те блистательные места роли, где надлежало задать тон. Если мне случалось их забыть или не перепутать, я, возвращаясь, дрожал от страха; поднимался такой крик, что вам и не вообразить себе. А дома надо было ухаживать за целой сворой собак; правда, я по глупости сам вменил себе это в обязанность. На мне также лежал надзор за кошками; и я был безмерно счастлив, если Мику удостаивала меня только царапины, раздирая мне кожу на руке или манжеты. Крикетта подвержена коликам, и

я растирал ей живот. Раньше у нашей хозяйки бывали приступы ипохондрии, а теперь она страдает расстройством нервов. Не говорю о легких недомоганиях, которых при мне нисколько не стесняются. Ну да что тут — я никого никогда не собирался стеснять. Я читал, что какой-то государь, прозванный Великим, дежурил иногда у судна своей любовницы. С домочадцами держатся запросто, а я в те дни был домочадцем больше, чем кто-либо другой. Я апостол простоты и непринужденности; я проповедовал им собственным примером и никогда не оскорблялся. Мне только не надо было мешать. Я уже обрисовал вам хозяина. Хозяйка же начинает прибавляв в весе. Надо только послушать милые вещи, которые л"ди рассказывают на этот счет.

Я. Но вы не из числа этих людоед?

Он. А почему бы нет?

Я. Да потому, что по меньшей пере неприлично выставлять в смешном свете своих благодетелей.

Он. Но разве не хуже на правах благодетеля унижать того, кому покровительствуешь?

Я. Но если бы покровительствуемый сам по себе не был низок, ничто не давало бы покровителю такого права.

Он. А если бы люди не были смешны сами по себе, никто не сочинял бы о них забавных россказней. И к тому же — моя ли вина, что они водятся со всяким сбродом? Моя ли вина, что они окружили себя сбродом, что их обманывают, что над ними издеваются? Когда решаешься жить с людьми вроде нас, а судишь здраво, надо ждать бесчисленных пакостен. Когда нас берут в дом, но знают разве, кто мы такие, но знают, что мы корыстные, низкие, вероломные душонки? Если нас знают, то все в порядке. Заключается молчаливое соглашение, что нам будут делать добро, а мы рано или поздно отплатим за добро, которое нам сделают, злом. Разве нет такого соглашения между человеком и его обезьяной или попугаем? Лебрен вопит но поводу того, что Палиссо, собутыльник его и друг, сочинил на него куплеты. Налиссо и должен был сочинить куплеты, и не нрав Леброн. Пуансине вопит но поводу того, что Палиссо ему приписал куплеты, которые сам сочинил на Лебреиа. Палиссо и должен был приписать Пуансине куплеты, которые он сочинил на Лебрена, и не нрав Пуансине. Маленький аббат Рой вопит но поводу того, что его друг Палиссо отбил у него любовницу, к которой он его и ввел, а не надо было вводить такого Палиссо к своей лю-

бовнице или уж следовало готовиться потерять ее. Палиссо исполнил свой долг, и не нрав аббат Рей. Книготорговец Давид вопит по поводу того, что его компаньон Палиссо спал или хотел спать с его женой; жена книготорговца Давида вопит по поводу того, что Налиссо дает понять, будто он с нею спал, но, как бы то ни было, Палиссо свою роль сыграл, а не правы Давид и его жена. Гельвеций вопит по поводу того, что Палиссо вывел его на сцене бесчестным человеком, а между тем должен ему деньги, выпрошенные на то, чтобы поправить здоровье, подкормиться и приодеться. Но мог ли он ожидать иного образа действий от человека, замаравшего себя всякими гнусностями, который просто ради забавы убедил друга отречься от своей религии, который завладевает имуществом своих компаньонов, у которого нет ни стыда, ни совести, ни чувств, который fas et nefas стремится к богатству, который дни считает по числу содеянных подлостей и который сам себя изобразил на сцене как опаснейшего мошенника — бесстыдство, которому, по-моему, не найдется примера в прошлом и не найдется в будущем? И виноват тут не Палиссо, а Гельвеций. Ежели юного провинциала свести в версальский зверинец, а он по глупости просунет руку в клет-

ку тигра или пантеры, и ежели рука молодого человека останется в пасти хищного зверя — кто тут будет виноват? Все это предусмотрено молчаливым соглашением, и тем хуже для тех, кто о нем не знает или забывает. Этим священным и всеобъемлющим соглашением можно оправдать стольких людей, которых мы обвиняем в злонравии, меж тем как нужно бы самих себя упрекать в глупости! Да, толстая графиня, это вы виноваты, когда собираете вокруг себя тех, кого у людей вашей породы принято называть тварями, и когда эти твари делают вам гадости, то заставляют и вас их делать и навлекают на вас негодование порядочных людей. Порядочные люди делают то, что должны, твари — тоже, и виноваты вы, что принимаете их. Если бы Бертен мирно и мило жил со своей любовницей, если бы в силу своей порядочности они водили только порядочные знакомства, если бы они окружали себя людьми даровитыми, известными в обществе своей добродетелью, если бы время, отнятое от блаженных часов, которые они проводили бы вдвоем, наслаждаясь любовью, говоря о ней в тиши одиночества, — если бы это время они посвятили небольшому кружку просвещенных, избранных друзей, — поверьте, на их счет не по-

являлось бы ни хороших, ни дурных выдумок! А что с ними произошло? То, чего они заслуживали: они были наказаны за свою неосмотрительность, и провидение от века предназначило нас на то, чтобы воздавать должное Бертенам нынешнего дня, а подобных нам из числа наших племянников оно предназначило на то, чтобы воздавать должное Монсожам и Бертенам будущего. Но в то самое время, как мы приводим в исполнение его справедливые приговоры над глупостью, вы, изображая нас такими, каковы мы на самом деле, приводите в исполнение его справедливые приговоры над нами. Что бы вы о нас подумали, если бы мы, при наших постыдных нравах, стали требовать всеобщего уважения? Что мы безумцы. А разумны ли те, которые ждут честного поведения от людей, уже родившихся порочными? Расплата в этом мире наступает всегда. Есть два генеральных прокурора: один — тот, что стоит у ваших дверей и наказывает за проступки против общества, другой — сама природа. Ей известны все пороки, ускользающие от законов. Вы предаетесь разврату с женщинами — у вас будет водянка; вы пьянствуете — у вас будет чахотка; вы пускаете к себе негодяев и живете в их обществе — вас будут обманывать, осмеивать, презирать; самое

простое — смириться перед справедливостью этих приговоров и сказать себе: «Поделом». Тут надо либо одуматься и исправиться, либо остаться таким, каков есть, но на вышеупомянутых условиях.

Я. Вы правы.

Он. Впрочем, из всех этих гадких рассказов ни один не выдуман мною, я ограничиваюсь ролью пересказчика. Ходит вот слух, что несколько дней тому назад, часов в пять утра, вдруг раздался отчаянный шум; звонили во все звонки, слышались глухие прерывистые крики, словно кого-то душили: «Ко мне, помогите, задыхаюсь, умираю!» Крики эти неслись из апартаментов патрона, Бегут на помощь. Наша толстая тварь, уже потерявшая голову, уже не помнившая себя, уже ничего не видевшая, как это бывает в такие минуты, приподымалась на обеих руках и со всего размаху обрушивалась па некие части его тела всей тяжестью своих двухсот или трехсот фунтов, упоенная быстротой, какую порождает самое неистовство удовольствия. Стоило немалого труда вызволить его. И на кой черт маленькому молоточку взбрело в голову лечь под такую тяжелую наковальню?

Я. Вы сквернослов. Поговорим о других вещах.

Все время, что мы беседуем, у меня на языке вертится вопрос.

0н. Что же вы так долго задерживали его?

Я. Я боялся, что он будет нескромным.

Он. После всего, что я вам открыл, я уже и не знаю, какие у меня могут быть тайны от вас.

Я. Вы не сомневаетесь в том, как я сужу о вашем характере?

Он. Отнюдь нет. Я в ваших глазах существо весьма мерзкое, весьма презренное; таким я порою кажусь и себе, но редко; своим порокам я чаще радуюсь, чем огорчаюсь из-за них. В вашем презрении вы проявляете больше постоянства.

Я. Это верно. Но зачем и вы показываете мне всю вашу низость?

Он. Прежде всего потому, что добрую ее долю вы уже знаете и что, признаваясь вам в остальном, я думал больше выиграть, чем потерять.

Я. Как же это так? Объясните, пожалуйста.

Он. Если уж быть великим в чем-либо, то прежде всего в дурных делах. На мелкого жулика плюют, но большому преступнику нельзя отказать в известном уважении; его мужество поражает вас, его свирепость приводит в содрогание. Цельность характера ценится во всем.

Я. Но этой почтенной цельности характера в

вас-то еще нет. Как я вижу, вы еще не стойки в ваших правилах. Неясно, прирожденное ли в вас злонравие или оно развито искусственным путем и достаточно ли далеко вы уже прошли по этому пути.

Он. Согласен, но н стараюсь изо всех сил. И разве у меня не хватило скромности признать, что есть существа более совершенные, чем я? Разве но говорил я с глубочайшим восхищением о Буро? Буре, по-моему, первый человек во всем мире.

Я. Но тотчас же поело Буре стоите вы?

Он. Нет.

Я. Тогда — Палиссо?

Он. Да, Палиссо, но не только он один.

Я. Кто же достоин разделять с ним второе место?

Он. Авиньонский отступник.

Я. Мне никогда не доводилось слышать об авиньонском отступнике, но это, должно быть, человек весьма примечательный.

Он. Он как раз таков.

Я. История великих людей меня всегда занимала.

Он. Охотно верю. Жил этот человек у одного из добрых и честных потомков Авраама, каковые этому патриарху верующих были обещаны в

количестве, равном числу звезд на небе.

Я. У еврея?

Он. У еврея. Сперва он внушил к себе сострадание, затем — благоволение, наконец — доверие самое полное, ибо так всегда и происходит: мы настолько полагаемся на наши благодеяния, что редко скрываем свои тайны от того, кого осыпали милостями. И можно ли искоренить неблагодарность, если мы сами подвергаем человека соблазну безнаказанно проявить сие свойство? Это справедливое соображение у нашего еврея не возникло. И вот он признался вероотступнику, что совесть не позволяет ему есть свинину. Вы сейчас увидите, какую выгоду изобретательный ум может извлечь из подобного признания. Несколько месяцев он проявлял все большую и большую заботливость, пока не увидел, что его еврей тронут всем этим вниманием, полностью покорен и убежден, будто во всем племени Израиля ему не найти лучшего друга… Оцените осмотрительность этого человека! Он не спешит, он дает плоду созреть, прежде чем трясти ветку. Излишний пыл мог бы погубить все дело. Величие же характера обычно вытекает из естественного равновесия между несколькими противоположными свойствами.

Я. Да оставьте ваши рассуждения и продолжайте рассказ.

Он. Иначе нельзя; бывают дни, когда я должен рассуждать. Это — болезнь, которую следует предоставить ее течению. Так на чем же я остановился?

Я. На близости, так прочно установившейся между евреем и вероотступником.

Он. И плод созрел… Но вы меня не слушаете. О чем это вы задумались?

Я. О неровности вашего голоса, который то повышается, то понижается.

Он. Разве голос у порочного человека может оставаться всегда одинаковым?.. Однажды вечером отступник приходит к своему другу растерянный, бледный как смерть, что-то невнятно лепечет, дрожит всем телом. «Что с вами?»-«Мы погибли». — «Погибли! Но почему?» — «Погибли, говорю я вам, и безвозвратно». — «Да успокойтесь!» — «Сейчас, только дайте мне прийти в себя». «Да полно, успокойтесь», — говорит ему еврей, вместо того чтобы сказать: «Ты отъявленный мошенник; я не знаю, что ты мне собираешься сообщить, но ты отъявленный мошенник, ты разыгрываешь испуг».

Я. А почему он должен был так ему сказать?

Он. Да потому, что тот притворялся и не знал меры, это ясно для меня, а вы меня больше не прерывайте. «Мы погибли… погибли!.. безвозвратно!» Неужели вы не чувствуете всей фальши этих погибли, столько раз повторяемых!.. «Предатель донес на нас святой инквизиции, на вас как на еврея, на меня как на отступника, как на гнусного отступника…» Обратите внимание, что предатель не краснея прибегает к самым крайним выражениям. Требуется больше мужества, нежели принято думать, чтобы назвать себя своим настоящим именем. Вы и не знаете, что значит дойти до этого.

Я. Ну, конечно, не знаю. Однако этот гнусный отступник…

Он. Притворяется, но притворство его — весьма искусное. Еврей приходит в ужас, рвет на себе бороду, катается но полу, уже видит сбиров у своих дверей, видит себя в плаще приговоренного, видит приготовленный для него костер. «Друг мой, дорогой друг мой, единственный друг мой, что же делать?»-«Что делать? Всюду показываться, для вида соблюдать величайшее спокойствие, вести себя как всегда. Это судилище действует тайно, но медленно, нужно воспользоваться его медлительностью, чтобы все продать. Я найму

корабль или поручу нанять его через третье лицо — да, через третье лицо, так лучше. Мы погрузим на корабль ваше имущество, потому что оно-то главным образом и не дает им покоя, и мы с вами отправимся искать свободы под другим небом, молиться нашему богу и в безопасности исполнять закон Авраама и нашей совести. А сейчас самое важное, раз уж мы находимся в таком опасном положении, — избегать малейшей неосторожности...»

Сказано — сделано. Судно зафрахтовано, снабжено припасами, матросы наняты, имущество еврея — на корабле; завтра на рассвете будут подняты паруса; завтра они уже смогут и весело поужинать, и спокойно уснуть, завтра они ускользнут от своих гонителей. Ночью отступник встает, крадет у еврея бумажник, кошелек и драгоценности, садится на корабль — и уплывает... И вы думаете, это все? Ну, не тут-то было. Когда мне рассказывали эту историю, я угадал то, что утаил еще от вас, дабы испытать вашу проницательность. Вы правильно делаете, что живете честно, из вас получился бы лишь мелкий жулик! Пока что и вероотступник является именно таким: он — презренный негодяй, на которого никто не желал бы походить. Но все величие его

злодейства в том, что он сам и донес на своего друга израильтянина, который уже утром был схвачен святой инквизицией, а через несколько дней весело и ярко пылал на костре. Вот так-то вероотступник спокойно овладел имуществом этого проклятого потомка людей, которые распяли нашего спасителя.

Я. Не знаю, чему больше ужасаться — гнусности вашего вероотступника или тону, которым вы о нем рассказываете.

Он. Про это я вам и говорил: чудовищность поступка такова, что спасает его от вашего презрения, и вот почему я был так чистосердечен. Я хотел показать вам, какого совершенства я достиг в моем искусстве, вырвать у вас признание, что я хоть оригинален в своей гнусности, поставить себя в вашем мнении наряду с великими мерзавцами, а затем воскликнуть: Viuat Mascarillus, fourbum impera-tor! Ну, давайте, господин философ, веселее, хором: Vi-vat Mascarillus, fourbum imperatorl И тут он начал петь фугой что-то совсем уж необычайное: мелодия то была величественна и полна торжественности, то легка и шаловлива; только что он пел басом, а через миг уже переходил к верхним партиям; руками и вытянутой шеей он мне указывал на

места, требующие выдержки, он исполнял и на ходу сочинял некую песнь ликования, по которой было видно, что хорошая музыка ему более близка, чем хорошие нравы.

Что до меня, то я не знал, оставаться ли мне с ним или бежать, смеяться или негодовать. Я остался, намереваясь перевести разговор на какую-нибудь тему, которая рассеяла бы ужас, объявший мою душу. Мне становилось почти невыносимым присутствие человека, обсуждавшего чудовищный поступок, мерзкое злодеяние так, как знаток в живописи или в поэзии разбирает произведения изящного вкуса или как моралист либо историк отмечает и освещает обстоятельства какого-нибудь героического подвига. Я невольно нахмурился; он это заметил и спросил:

— Что с вами? Может быть, вам не но себе?

Я. Слегка. Но это пройдет.

Он. У вас вид удрученный, как у человека, которого мучит тревожная мысль.

Я. Это так и есть…

Мы оба молчали некоторое время, а он ходил, насвистывая и напевая; чтобы возобновить разговор о его таланте, я его спросил:

— Что вы делаете теперь?

Он. Ничего.

Я. Это очень утомительно.

Он. Я и так уж был глуп, а вот пошел послушать музыку Дуни и других наших молодых мастеров — и теперь совсем ума решился.

Я. Вы одобряете этот род музыки?

Он. Еще бы!

Я. И вы находите красивыми эти новые песни?

Он. Будь я проклят, если сужу иначе! Как это преподнесено! И какая правдивость! Какая сила выражения!

Я. Всякое искусство, основанное на подражании, имеет своим образцом природу. Какой же образец у композитора, когда он сочиняет песню?

Он. Почему не взглянуть на дело с точки зрения более высокой? Что такое песня?

Я. Признаюсь вам, что этот вопрос мне не по силам. Ведь все мы таковы, что в памяти у нас сохраняются только слова, которые нам кажутся понятными в силу частого повторения и даже верного их применения, но в уме — какая неясность представлений. Когда я произношу слово песня, у меня представление не более ясное, чем у вас и большинства других людей, когда они говорят: репутация, хула, честь, порок, добродетель,

целомудрие, стыд, посмешище.

Он. Пение — это подражание путем звуков, расположенных по определенной шкале, изобретенной искусством или, если вам угодно, внушенной самой природой, — подражание с помощью либо голоса, либо музыкального инструмента естественным шумам или проявлениям страсти. И вы видите, что это определение, если изменить в нем то, что требует изменений, точно подойдет и к живописи, и к красноречию, и к скульптуре, и к поэзии. Теперь возвратимся к вашему вопросу — что же служит образцом для композитора или певца? Речь, если этот образец — живой и мыслящий, шум, если это — образец неодушевленный. Речь следует рассматривать как одну линию, а пение — как другую, извивающуюся вокруг первой. Чем сильнее и правдивее будет речь, прообраз пения, тем в большем количестве точек ее пересечет напев; чем правдивее будет напев, тем он будет прекраснее, и вот это-то превосходно поняли наши молодые композиторы. Когда слышишь фразу: «Я жалок и несчастен», кажется, будто это — жалоба скряги; если бы он и не пел, то те же ноты звучали бы в его словах, обращенных к земле, которой он вверяет свое золото: «Земля, сокровище прими!». А эта де-

вочка, которая чувствует, как бьется ее сердце, которая краснеет, смущается и просит знатного господина отпустить ее, — разве она иначе бы выразилась? Во всех этих произведениях столько характерных черт, такое бесконечное разнообразие речи! Это дивно, прекрасно, можете мне поверить! Пойдите, пойдите послушать арию, где юноша, чувствуя приближение смерти, восклицает: «Уходит жизнь!» Вслушайтесь в пение, вслушайтесь в партию оркестра, а потом скажите, есть ли разница между голосом действительно умирающего и звуками этой арии; вы увидите, как линия мелодии полностью совпадает с линией речи. Не говорю уже о ритме, который теперь является одним из условий пения, ограничиваюсь только выразительностью, и нет ничего более бесспорного, чем следующие слова, которые я где-то Прочел: «Musices seminarium accentus»– интонация есть питомник мелодии. Судите же теперь, насколько трудно и насколько существенно уметь сочинять речитатив, и, если хорош речитатив, не может быть, чтобы искусный знаток не сделал из него хорошей арии. Я не стал бы утверждать, что тот, кто хорошо исполняет речитатив, хорошо будет петь, но меня бы удивило, если бы тот, кто поет хорошо, не сумел

бы хорошо исполнить речитатив. И верьте всему, что я вам сказал, ибо это сущая правда.

Я. Я бы рад был поверить вам, если бы не одно маленькое сомнение.

Он. Какое сомнение?

Я. Да ведь если эта музыка так прекрасна, то, значит, творения божественного Люлли, Кампра, Детуша, Муре и, между нами говоря, даже вашего бесценного дядюшки несколько плоски.

Он, наклоняясь к моему уху, ответил:

Я бы не хотел, чтобы меня слышали, а здесь много людей, которые меня знают. Но музыка эта и в самом деле такова. Тут дело для меня не в бесценном дядюшке, если уж вы так называете его. Он — камень. Я мог бы у него на глазах околеть от жажды, а он бы и стакана воды не подал мне. Но как бы он там ни разделывал свои хон-хон-хин-хин, тю-тю-тю, тюрлютютю на октавах да на септимах под дьявольскую трескотню, все же те, кто начинает разбираться в подобных вещах и не принимает бренчанье за музыку, никогда не примирятся с этим. Всякому, кто бы он ни был и какое бы положение ни занимал, следовало бы запретить полицейским приказом исполнение «Stabat» Перголезе. Этот «Stabat» надо было бы сжечь рукой палача. Право же, эти проклятые

скоморохи с их «Служанкой-госпожой», с их «Тракколло» натворили нам дел. В прежнее время по четыре, по пять, по шесть месяцев не сходили со сцены «Танкред», «Иссе», «Галантная Европа», «Галантная Индия», «Кастор», «Лирические таланты», «Армида» ставилась без конца. Теперь же все это рушится одно за другим, как карточные домики. Недаром Ребель и Франкер мечут громы и молнии. Они твердят, что все пропало, что они разорены, и что, если и дальше будут терпеть эту поющую ярмарочную сволочь, французская что музыка полетит к черту, и что Королевской Опере в тупике Пале-Рояль придется закрывать лавочку. Доля истины тут есть. Дряхлые приверженцы старины, которые вот уже лет тридцать или сорок ходят туда каждую пятницу, вместо прежнего удовольствия испытывают скуку и зевают, сами не понимая почему: они задают себе этот вопрос и не могут на него ответить. Что бы им спросить меня! Пророчество Дуни исполнится, и если дело пойдет так же и дальше, то, даю голову на отсечение, лет через пять после появления на сцене «Художника, влюбленного в свою модель» и кошка не забредет в знаменитый тупик. Забавные люди! Отказались от своих симфоний, чтобы играть итальянские, и решили,

что сумеют приноровить к ним свой слух, ничего не думая менять в своей вокальной музыке, как будто симфония по отношению к пению не то же самое, что пение по отношению к правдивой декламации, если только отвлечься от некоторой вольности, какую вносит в симфонию диапазон инструмента и подвижность пальцев, как будто скрипка не обезьяна по отношению к певцу, который сам станет обезьяной по отношению к скрипке, когда со временем трудное займет место прекрасного. Первый, кто исполнил Локателли, стал апостолом новой музыки. Нет, нас уже не обмануть! Что же это, нас будут приучать к порывам страсти или к явлениям природы, выраженным с помощью пения, декламации, инструментов — ибо этим и ограничивается круг всех музыкальных средств, — а мы все же сохраним вкус к полетам, копьям, ореолам, триумфам, победам? Как бы не так! Они вообразили, что в это время, как будут плакать или смеяться над сценами музыкальных трагедии или комедий, в то время, как до их слуха донесутся голоса ярости, ненависти, ревности, подлинные стоны любви, насмешки, шутки театра французского или итальянского, они будут по-прежнему оставаться поклонниками «Рагонды» или «Платеи» (уж это,

что ни говори, тара-ра-ра, тара-ра-рй). Непрестанно ощущая, с какой легкостью, с какой гибкостью, с какой нежностью гармония итальянской речи, ее просодия, эллипсы и инверсии отвечают требованиям искусства, движению и выразительности, музыкальным переходам и ритмическому чередованию звуков, они будто бы по-прежнему останутся в неведении насчет того, как их родной язык неуклюж, туп, тяжел, громоздок, педантичен и однообразен! Да, да, они уверили себя, что, пролив слезы вместе с матерью, сокрушенной смертью сына, содрогнувшись от слов тирана, приказывающего совершить убийство, они не будут томиться скукой от своих феерий, от нелепой мифологии, от сладеньких мадригалов, свидетельствующих как о дурном вкусе поэта, так и об убожестве искусства, которое довольствуется ими! Забавные люди! Такого не бывает и не может быть; правда, добро и красота имеют свои права; их оспаривают, но в конце концов ими восхищаются; то, что не отмечено их печатью, может некоторое время вызывать восхищение, но в конце концов вызовет зевоту. Зевайте ж,, милостивые государи, зевайте сколько угодно, не стесняйтесь! Постепенно устанавливается царство природы и царство той троицы, которой

вовек не одолеют врата адовы, царство правды, порождающей сына — добро, от которого берет начало красота — дух святой. Пришлый бог смиренно становится на алтаре рядом с туземным идолом, он понемногу укрепляется, в один прекрасный день он толкает локтем своего соседа, и — бац! — идол оказывается на земле. Говорят, что иезуиты так насаждали христианство в Китае и в Индии, и, что бы ни говорили янсенисты, такой метод в политике, преследующей свою цель без шума, без кровопролития, без мученичества, без единого клока вырванных волос, представляется мне наилучшим.

Я. Все, что вы сейчас сказали, довольно разумно.

Он. Разумно! Тем лучше! Но черт меня подери, если я об этом хлопочу. Это выходит само собой. Я поступаю так, как поступают музыканты в оперном тупике, когда появляется мой дядюшка. Попадешь в цель — ну что ж, в добрый час. Ведь любой угольщик лучше расскажет о своем ремесле, чем целая академия, чем все Дюамелн на свете…

И вот он начинает разгуливать, напевая про себя арии из «Острова безумных», из «Художника, влюбленного в спою модель», из «Кузнеца» и

«Жалобщицы»; время от времени он восклицает, поднимая к небу и руки и глаза: «Разве это не прекрасно, черт возьми, разве это но прекрасно! И как это можно иметь уши и еще задавать себе подобные вопросы?» Он все более воодушевлялся и пел сперва совсем тихо, потом, но мере того, как росло его возбуждение, повышал голос; затем появились жесты, гримасы лица и конвульсии всего тела; и я сказал себе: «Ну вот! Опять он теряет голову, и готовится новая сцена…»

И в самом деле, она разражается. «Я жалок и несчастен… Отпустите меня, господин мой… Земля, сокровище прими, мое ты злато сохрани. Душа моя и жизнь моя. Земля, земля!.. А вот и наш дружочек, а вот и наш дружочек! Aspettare e поп venire… A Zerbina penserete… Sempre in contrasti con te si sta…» Он нагромождал одну на другую и перемешивал десятки арий — итальянских, французских, трагических, комических, самых разнохарактерных. То глубоким басом он спускался в глубь ада, то, надрываясь и переходя на фальцет, раздирал небесные выси: походкой, осанкой, движениями он старался передать различные оперные роли, то впадая в ярость, то смягчаясь, от властного тона переходя к насмешке. Вот перед нами плачущая девушка

— он показывает все ее жеманство; вот жрец, вот царь, вот тиран; он угрожает, приказывает, отдается гневу; вот раб — он покоряется, смиряется, сокрушается, сетует, смеется; и нигде он не нарушает ни тона, ни ритма, ни смысла слов, ни характера арии.

Все шахматисты оставили доски и обступили его; прохожие, привлеченные шумом, столпились у окон кофейни. От взрывов хохота дрожал потолок. Он же ничего не замечал, он продолжал петь во власти какого-то исступления ума, какого-то восторга, столь близкого к безумию, что было сомнительно, вернется ли к нему рассудок и не придется ли его, поющего отрывки из «Жалоб» Иомелли, усадить в карету и везти прямо в сумасшедший дом. Он с необыкновенной точностью, искренностью и жаром повторял лучшие места каждой из пьес: прекрасный речитатив, где пророк рисует опустошение Иерусалима, он оросил потоками слез, которые исторг и у всех окружающих. Здесь было все: и нежность напева, и сила выражения, и скорбь. Он выделял те места, где особенно выступало мастерство композитора. От партии вокальной он переходил к партии оркестровой, которую тоже внезапно обрывал, чтобы вернуться к пению, так сплетая одно с

другим, что сохранялась вся связь и единство целого; он овладел нашими душами и держал их в состоянии самого необычайного напряжения, какое я когда-либо испытывал. Восторгался ли я? Да, восторгался. Был ли я растроган? Да, я был растроган, однако оттенок чего-то смешного проступал в этих чувствах и их искажал.

Но то, как он подражал различным инструментам, заставило бы вас разразиться хохотом. Надув щеки, он хриплым голосом передавал звучание валторн и фаготов, для гобоя он переходил на звуки громкие и гнусавые; изображая струнные инструменты, звучание которых он старался воспроизвести самым точным образом, он невероятно ускорял темп; пикколо он передавал свистом, для больших флейт ворковал; он кричал, пел, суетился как безумный, один изображал и танцоров, и танцовщиц, и певцов, и певиц, и весь оркестр — целый оперный театр — и, исполняя зараз двадцать самых различных ролей, то бегал как одержимый, то внезапно останавливался, сверкая глазами, с пеной у рта.

Было смертельно жарко, и пот, выступивший у него на лбу, струился по морщинам, стекал по щекам, смешивался с пудрой волос, лился на одежду и оставлял на ней полосы. Чего он только не

делал у меня на глазах! Он плакал, смеялся, вздыхал, смотрел то с нежностью, то со спокойствием, то с яростью. Вот перед нами женщина вне себя от горя, вот — несчастный, весь во власти своего отчаяния, вот воздвигается храм, а вот уже и птицы, умолкающие на закате, воды, лепечущие где-нибудь в уединенном и прохладном месте или потоком низвергающиеся с горы, гроза, буря, стоны тех, кто сейчас погибнет, сливающиеся с воем ветра, с раскатами грома. То была ночь с ее мраком, то были тень и тишина, ибо тишина тоже изображается звуками. Но он уже ничего не соображал.

Как человек, только что очнувшийся после глубокого сна или долгой задумчивости, он, тупо удивляясь, остановился в совершенном изнеможении, не в состоянии шевельнуться. Он осматривался кругом, как путник, который заблудился и стремится определить место, где он находится; он ждал, когда к нему вернутся силы и сознание; он машинально вытирал себе лицо. Подобно человеку, который при пробуждении увидел бы вокруг своей постели множество людей, сам полностью утратив и память, и представление о том, что он делал, он внезапно воскликнул: «Да что же это, господа, что же это такое? Что вы сме-

етесь, чему вы удивляетесь? Что такое?» Затем прибавил: «Вот что называется музыка и музыкант! И все же, господа, есть пассажи у Люлли, не заслуживающие презрения. Пусть кто-нибудь попробует, не меняя слов, лучше написать сцену „Ах, я дождусь…“. Ручаюсь, что не выйдет! Не заслуживают презрения некоторые моста и у Кампра, а также скрипичные пьесы моего дядюшки, выходы солдат, жрецов… „Бледные факелы, ночь, что ужаснее мрака!..“, „Боги Тартара, боги забвения…“ (Тут он напряг свой голос, форсируя звук; соседи стали высовываться из окон, а мы затыкали уши пальцами. Он прибавил): Здесь ведь нужны сильные легкие, мощный голос, бездна воздуха. А скоро у нас вознесение; крещение и пост прошли. Они же все еще не знают, что класть на музыку, а значит, и не знают, что требуется композитору. Лирическая поэзия еще не родилась, они еще увидят ее. Слушая Перголезе, Саксонца, Терраделльяса, Траэтту и других, читая Метастазио, они должны будут к ней прийти».

Я. Как это так? Неужели Кино, Ламот, Фонтенель ничего в этом не смыслили?

Он. В новом стиле поэзии ничего. Во всех их очаровательных стихотворениях нет и шести строчек сряду, которые можно было бы положить

на музыку. Есть там замысловатые сентенции, легкие, изящные и нежные мадригалы. Но если вы хотите узнать, насколько они бесплодны для нашего искусства, самого мощного из всех искусств, включая даже и искусство Демосфена, пусть вам прочитают вслух отрывки из стихотворений; они покажутся вам холодными, вялыми, однообразными. Ведь в них отсутствует то, что могло бы служить основой для пения; я бы уж предпочел, чтобы на музыку клали «Максимы» Ларошфуко или «Мысли» Паскаля. Только животный крик страсти даст то, что нужно нам; выражения его должны быстро сменять друг друга; фраза должна быть короткой, смысл ее — четким и сгущенным; композитор должен иметь возможность располагать целым и каждой его частью, опуская или повторяя одно слово, прибавляя недостающее, выкручивать фразу в разные стороны, как губку, не разрушая ее. Вот почему французская лирическая поэзия гораздо менее податлива, чем поэзия тех языков, которые от природы обладают преимуществом гибкости, ибо в них порядок слов свободнее. «Жестокий варвар, вонзи кинжал в мою грудь; я готова принять роковой удар; решайся ж — вонзай!.. Ах! я томлюсь, я умираю… И тайным пламенем

мои пылают чувства… Жестокая любовь, чего ты хочешь от меня?.. Верни мне сладостный покой, мою отраду… Верни рассудок мне…» Страсти должны быть сильными, любовь у композитора и у лирического поэта должна достигать высшего предела. Ведь ария почти всегда заключает собой акт. Нам нужны восклицания, междометия, паузы, перебои, утверждения, отрицания; мы взываем, мы умоляем, мы кричим, мы стонем, мы плачем, мы смеемся от души. Не надо остроумия, не надо эпиграмм, не надо изысканных мыслей — все это слишком далеко от простой природы. И не подумайте, что образцом нам могут послужить игра актеров в театре и их декламация. Как бы не так! Образец нам нужен более энергический, менее жеманный, более правдивый. Простая речь, обыкновенный голос страсти тем необходимое для нас, чем однообразнее язык, чем менее он выразителен. Крик животного или человека, охваченного страстью, только и внесет в него жизнь…

Пока он говорил мне это, окружавшая нас толпа разошлась, либо ничего не понимая, либо не испытывая интереса к его речам, — ибо вообще дитя, так же как и взрослый человек, и взрослый человек, так же как и дитя, предпочитают

забавное поучительному; все вернулись к игре, и мы в нашем углу остались одни. Он сидел на скамейке, прислонив голову к стене, свесив руки, полузакрыв глаза.

— Не знаю, что со мной, — сказал он мне, — когда я пришел сюда, я был свеж и бодр, а сейчас я разбит, я изнемогаю, словно десять лье прошел пешком. Это сделалось со мной внезапно.

Я. Не желаете ли чего-нибудь прохладительного?

Он. Буду рад. Я охрип, силы изменяют мне, и что-то побаливает грудь. Так бывает со мной почти каждый день, сам не знаю с чего.

Я. Что же вы выпьете?

Он. Что вам будет угодно. Я не привередлив. Нужда научила меня довольствоваться чем попало.

Нам подали пиво, лимонад; он наливает большой стакан и два-три раза подряд осушает его. Затем, как будто восстановив свои силы, он громко откашливается, опять приходит в возбуждение и продолжает:

— Но не кажется ли вам удивительно странным, господин философ, что является какой-то иностранец, какой-то итальянец Дуни и учит нас, как сделать нашу музыку выразительной, как

подчинить пение ритму, тактам, интервалам, правилам декламации, не нарушая просодии? А ведь это не такая уж премудрость. Всякий, кто слышал, как нищий на улице просит милостыню, как продается ярости мужчина, как неистовствует ревнивая женщина, как терзается отчаянием влюбленный, как льстец — да, да, как льстец принимает вкрадчивый тон и медоточиво растягивает слоги, — словом, кто слышал выражение любой страсти, лишь бы она по своей силе заслуживала стать для композитора образцом, должен был бы обратить внимание на два обстоятельства: во-первых, что слоги долгие или «короткие но обладают постоянной длительностью и что между их длительностью даже нет никакого определенного соотношения, что страсть распоряжается просодией почти как ей угодно, что она прибегает к самым значительным интервалам и что человек, восклицающий в глубочайшей скорби: „О, как несчастен я!“-доводит слог, несущий восклицание, до самой высокой и пронзительной ноты, а прочие слоги заставляет опуститься до самых глубоких и низких тонов, понижая голос на октаву или делая больший интервал и сообщая каждому звуку долготу, соответствующую характеру мелодии, притом не оскорбляя слуха и

не сохраняя ни в долгих, ни в кратких слогах долготы и краткости, свойственной им в спокойной речи. Какой путь мы прошли с тех пор, как называли чудом музыкальной декламации вставную арию из „Армиды“: „Соперник твой Рено (коль быть им кто-то может) „или «Послушны мы ее приказу“ из «Галантной Индии“! Теперь же эти чудеса заставляют меня с жалостью пожимать плечами. Искусство движется вперед так быстро, что я не знаю, куда оно придет. А пока что давайте выпьем.

Он выпивает еще два или три стакана, уже не соображая, что делает. Он мог бы теперь захлебнуться так же незаметно для себя, как перед тем иссяк, но я отодвинул бутылку, он же в своей рассеянности продолжал ее искать. Тогда я сказал:

— Как это возможно, что при таком тонком вкусе, при такой глубокой восприимчивости к красотам музыки вы так слепы к красотам нравственным, так безразличны к прелестям добродетели?

Он. Очевидно, для них нужно особое чувство, которого у меня нет, нужна струнка, которой я не наделен, или она такая слабая, что не звенит, сколько бы ее ни дергали, а может быть, причина в том, что я всегда жил среди хороших

музыкантов и злых людей, и поэтому слух мой стал весьма тонким, сердце — глухим. К тому же здесь есть и нечто врожденное. Кровь моего отца и кровь моего дяди — одна и та же кровь, а моя кровь — та же, что кровь моего отца; отцовская молекула была жесткая и грубая, и эта проклятая первичная молекула поглотила все остальное.

Я. Любите вы своего сына?

Он. Люблю ли я этого маленького дикаря! Да я от него без ума!

Я. И вы ничего не предпримете, чтобы пресечь в нем действие проклятой отцовской молекулы?

Он. Мне кажется, мои усилия были бы напрасны. Если ему предназначено стать человеком честным, я не помешаю этому; но если бы молекуле было угодно, чтобы он стал негодяем, как его отец, мои старания сделать из него человека честного принесли бы ему великий вред. Так как воспитание все время шло бы вразрез с влиянием молекулы, его тянуло бы сразу в две противоположные стороны, и он бы шел, шатаясь, по жизненному пути, как и множество других людей, равно неуклюжих и в добрых и в злых делах. Таких людей мы называем тварями, пользуясь определением, самым страшным из всех, ибо оно означает посредственность и выражает послед-

нюю степень презрения. Великий негодяй — это великий негодяй, но отнюдь не тварь. Прежде чем отцовская молекула одержала бы в ребенке верх и довела бы его, как меня, до полного падения, прошло бы бесконечно много времени; он потерял бы свои лучшие годы. Пока что я ничего с ним не делаю, я предоставляю его себе, наблюдаю за ним. Он уже лакомка, подлипала, плут, лентяй, лгун. Боюсь, что в нем проступает его порода.

Я. А вы сделаете из него музыканта, чтобы сходство было полным?

Он. Музыканта! Музыканта! Иногда я со скрежетом зубовным смотрю на него и говорю: «Я тебе, кажется, шею сверну, если ты когда-нибудь будешь знать хоть одну ноту».

Я. А почему так, позвольте спросить?

Он. Это ни к чему не ведет.

Я. Это ведет ко всему.

Он. Да, если достигнуть совершенства. Но кто же может рассчитывать, что его ребенок достигнет совершенства? Десять тысяч шансов против одного, что из него выйдет такой же жалкий скрипач, как я. Знаете ли вы, что легче, может быть, найти ребенка, способного управлять королевством, стать великим королем, чем способного стать великим скрипачом?

Я. Мне кажется, что в обществе безнравственном, утопающем в разврате и роскоши, человек даже со средним, но приятным талантом быстро составит себе карьеру и фортуну. Я сам присутствовал при следующем разговоре между своего рода покровителем и своего рода просителем. Последнего направили к первому, как к человеку благожелательному, склонному помочь. «Что же вы умеете, сударь?»– «Я порядочно знаю математику». — «Ну что ж, обучайте математике; после того как вы лет десять — двенадцать протаскаетесь по парижским улицам, у вас будет рента ливров в триста — четыреста». — «Я изучал право и сведущ в юриспруденции». — «Если бы Нуфендорф и Гроций воскресли, они бы умерли с голоду под забором». — «Я очень хорошо знаю историю и географию». — «Если б существовали родители, принимающие близко к сердцу воспитание своих детой, ваше благополучие было бы обеспечено, но таких родителей пет». — «Я довольно хороший музыкант». — «Ну, что ж вы это сразу не объявили? Чтобы показать нам, какую пользу можно извлечь из этого таланта, скажу вам, что у меня ость дочь. Вы будете приходить каждый день от половины восьмого до девяти часов вечера давать ей урок и получать от меня

двадцать пять луидоров в год. Вы будете с нами завтракать, обедать, ужинать. Остальная часть времени в вашем распоряжении, вы сможете располагать ею, как вам заблагорассудится».

Он. Что же сталось с этим человеком?

Я. Если бы он был благоразумен, он составил бы себе состояние, единственное, что вы, кажется, имеете в виду.

Он. Несомненно, да — золото, золото! Золото — это все, а все прочес без золота — ничто. И вот, вместо того чтобы набивать ребенку голову отменными правилами, которые ему необходимо скорее позабыть, чтобы не превратиться в нищего, я, когда у меня есть луидор, что случается со мной не часто, сажусь против него. Я вытаскиваю луидор из кармана, с восторгом показываю его, подымаю глаза к небу, целую этот луидор и, чтобы еще лучше объяснить сыну важность священной монеты, лепечу, пальцами изображая все, что можно на нее приобрести, — хорошие штанишки, красивую шапочку, вкусное пирожное. Затем я опять кладу луидор в карман, гордо разгуливаю, приподымаю полу камзола, хлопаю по карману — и вот так-то я даю ему попять, что от этого луидора идет и вся моя уверенность в себе.

Я. Лучшего и не придумать. Но если бы вдруг

случилось, что, всецело проникшись сознанием ценности луидора, он…

Он. Я вас понял. На это надо закрывать глаза: нет такого нравственного правила, которое не заключало бы в себе какого-либо неудобства. В худшем случае пришлось бы пережить неприятную минуту — вот и все.

Я. Даже приняв в расчет столь смелые и мудрые взгляды, я продолжаю думать, что было бы полезно сделать из него музыканта. Я не знаю другого пути, которым можно бы столь быстро приблизиться к великим мира сего, чтобы ревностнее угождать их порокам, а собственные обратить себе на пользу.

Он. Это правда, но я составил план, как достичь успеха более быстрого и надежного. Ах, если бы это была девочка! Но так как совершается не то, что хочешь, надо принимать то, что дается, извлекать из этого выгоду; а потому, в отличие от большинства отцов, которые не могли бы сделать ничего худшего, даже если бы они задумали погубить своих детей, я решил не допускать глупости и не давать спартанского воспитания ребенку, которому суждено жить в Париже. Если воспитание окажется неудачным, виноват буду не я, а нравы моего народа. Пусть за это отвечает кто

может. Я хочу, чтобы мой сын был счастлив или — а это то же самое — чтобы он был человеком уважаемым, богатым и влиятельным. Я немного знаю самые легкие пути, ведущие к этой цели, и научу его заблаговременно. Если мудрецы вроде вас меня и осудят, толпа и успех оправдают меня. У него будет золото, ручаюсь вам. Если золота будет много, у него ни в чем не окажется недостатка — даже в вашем почтении и уважении.

Я. Тут вы можете и ошибиться.

Он. Или он без этого обойдется, как и многие другие.

Во всем этом было много такого, что обычно думают, чем руководствуются, но чего не говорят. Вот, в сущности, в чем самое резкое различие между моим собеседником и большинством наших ближних. Он сознавался в пороках, свойственных ему, свойственных и другим, но он не лицемерил. Он был не более и не менее отвратителен, чем они; он был только более откровенен и более последователен в своей испорченности, а порою и глубже проникнут ею. Я содрогался при мысли о том, чем станет его ребенок при таком наставнике. Несомненно, что при подобном взгляде на воспитание, столь точно соответствующем нашим нравам, он пойдет далеко, если только его

карьера не оборвется раньше времени.

Он. О, ничего не бойтесь. Самое важное, самое трудное, о чем больше всего и должен заботиться хороший отец, состоит вовсе не в том, чтобы развить в ребенке пороки, которые его обогатят, или смешные свойства, которые в нем оценят знатные люди (это делают все, если не ради системы, как я, то подражая другим и обучаясь у них), а в том, чтобы внушить ему чувство меры, искусство ускользать от позора, бесчестья и законов. Все это — диссонансы в общественной гармонии, которые должны быть верно распределены, подготовлены и оправданны. Нет ничего более плоского, нежели ряд безукоризненных аккордов; необходимо нечто острое — такое, что дробило бы луч света и рассеивало его.

Я. Превосходно. Этим сравнением вы из области нравственности возвращаете меня к музыке, от которой я невольно отклонился, и я вам очень благодарен, ибо — не скрою от вас — предпочитаю в вас видеть не моралиста, а музыканта.

Он. Я, однако, весьма посредственный музыкант и гораздо сильнее в морали.

Я. Сомневаюсь, но если бы оно и было так, все равно: я человек порядочный, и ваши правила — не мои.

Он. Тем хуже для вас. Ах, если бы мне ваши таланты!

Я. Оставим мои таланты и возвратимся к вашим.

Он. Если бы я умел изъясняться, как вы! Но у меня язык чертовски неясный, наполовину светский и книжный, наполовину площадной.

Я. Я говорю плохо. Я умею говорить только правду, а это, как вы знаете, не всегда имеет успех.

Он. Но я вовсе не затем хотел бы иметь ваш талант, чтобы говорить правду, а как раз наоборот — чтобы лгать. Если бы я умел писать, мастерить книги, сочинять посвящения, одурманивать глупца восхвалением его заслуг, вкрадываться в доверие к женщинам!

Я. И все это вы умеете в тысячу раз лучше, нежели я. Я был бы даже недостоин идти к вам в ученики.

Он. Сколько великих качеств пропадает зря, и вы даже не знаете им цены!

Я. Они приносят мне ровно столько, сколько стоят.

Он. Если б было так, вы не ходили бы в этой плохо сшитой одежде, в этом камзоле из грубой материи, в этих шерстяных чулках, в этих тяжелых башмаках, в этом старомодном парике.

Я. Согласен. Надо быть очень неловким, чтобы не достичь богатства, когда позволяешь себе ради этой цели все. Но ведь есть и люди вроде меня, которые богатство не считают самой драгоценной вещью в мире, — странные люди!

Он. Весьма странные. С таким складом ума никто не родится, люди сами создают его себе, ибо он не заложен в природе.

Я. В природе человека?

Он. Человека. Все живущее, не исключая и человека, добивается своего благополучия за счет того, от кого оно зависит, и я уверен, что, если бы моего маленького дикаря я предоставил самому себе, ничего ему не объясняя, он захотел бы богато одеваться, роскошно есть, пользоваться расположением мужчин, любовью женщин и наслаждаться всеми благами жизни.

Я. Если бы маленький дикарь, предоставленный самому себе, сохранил все свое неразумие, а с глупостью грудного младенца еще соединил в себе бурные страсти тридцатилетнего мужчины, он свернул бы шею отцу и обесчестил бы свою мать.

Он. Это доказывает необходимость хорошего воспитания, да и кто же ее оспаривает? И что такое хорошее воспитание, как не то, которое без

опасности и неудобств ведет ко всевозможным радостям жизни?

Я. Я почти согласен с вами, но воздержимся от объяснений.

Он. Почему?

Я. Да я боюсь, что наше согласие — только кажущееся и что, если мы станем рассуждать об опасностях и неудобствах, мы уже не сойдемся во мнениях.

Он. Ну так что же?

Я. Оставим это, прошу вас. То, что я знаю на этот счет, я вам не внушу, а вы с большей легкостью научите меня тому, чего я не знаю и что известно вам из области музыки. Поговорим о музыке, дорогой Рамо, и вы мне объясните, как это могло случиться, что при вашем чутье, вашей памяти и умении передавать лучшие места из произведений великих композиторов, при том энтузиазме, который они возбуждают в вас и которым вы заражаете других, вы не создали ничего значительного…

Вместо ответа он стал качать головой и, подняв палец кверху, произнес:

— А звезда! Звезда! Когда природа создавала Лео, Винчи, Перголезе, Дуни, она улыбалась; она приняла вид внушительный и торжественный,

создавая дорогого дядюшку Рамо, которого десяток лет называли великим Рамо и о котором скоро уже не будет и речи. Когда она смастерила его племянника, она состроила гримасу, и еще одну, и еще раз гримасу.

При этих словах он сам делал гримасы, какие только возможно: они выражали презрение, пренебрежение, насмешку, а пальцы его как будто мяли кусок теста, и он улыбался нелепым формам, какие ему придавал. Потом он отшвырнул странного уродца и проговорил:

— Вот так она и создала меня и так бросила рядом с другими уродцами, из которых одни отличались толстым и отвисшим животом, короткой шеей, выпученными глазами, апоплексическим складом; у иных шея была кривая; были там и сухопарые, с бойкими глазами, нос крючком.

Все начали покатываться со смеху, увидев меня, а я, увидев их, подбоченился и тоже стал покатываться со смеху, ибо дураки и сумасшедшие тешатся, глядя друг на друга; они друг друга ищут, их друг к Другу влечет. Если бы, попав к ним, я не располагал уже готовой пословицей:

«Деньги дураков — добро умных», я бы должен был выдумать се. Я почувствовал, что природа мою законную долю положила в кошелек этих

уродцев, и я начал измышлять тысячи способов, чтобы вернуть ее себе.

Я. Эти способы я знаю; вы мне рассказывали о них, и я ими очень восхищался. Но почему при таком обилии средств вы не испробовали еще одно: создать произведение искусства?

Он. Это вроде того, что один светский человек советовал аббату Ле Блану. Аббат рассказывал: «Маркиза Помпадур берет меня за руку, подводит к порогу Академии, там она отдергивает руку, я падаю и ломаю себе обе ноги». Светский человек ему на это: «Ну что же, господин аббат, надо было встать и вышибить дверь головой». Аббат ему отвечает: «Это я и попробовал сделать, и знаете ли, что из этого для меня получилось? Шишка на лбу...»

Рассказав эту историйку, мой чудак принялся расхаживать взад и вперед с опущенной головой, с видом задумчивым и подавленным; он вздыхал, лил слезы, сокрушался, подымал к небу и руки и глаза, бил себя кулаком по голове с риском проломить себе череп или сломать пальцы. «А все– таки, — говорил он,

— мне кажется, здесь что-то есть; но сколько я ни бью, ни трясу, ничего отсюда не выходит». Потом он снова еще сильнее затряс головой и

заколотил себя по лбу, говоря: «Либо никого тут нет, либо не желают отвечать».

Мгновение спустя он уже принимал горделивую осанку, поднимал голову, прикладывал к сердцу правую руку, он опять начал расхаживать и повторял: «Я чувствую, да, я чувствую…»

Тут он изображал человека, который раздражается, возмущается, смягчается, приказывает, умоляет, и, нисколько не готовясь, произносил речи, выражавшие гнев, сострадание, ненависть, любовь; он с поразительной тонкостью и правдивостью воспроизводил внешние проявления страстен; затем прибавил:

— Вот, кажется, оно и есть. Дело подвигается. Вот что значит найти акушера, который умоет вызвать и ускорить схватки и заставить ребенка выйти. Когда я один, я берусь за перо, хочу писать, грызу себе ногти, чешу лоб. И что ж? Божество отсутствует — спокойной ночи, будьте здоровы. Я уверил себя, что у меня есть талант, а дописав строчку, я читаю, что я — дурак, дура», дурак. Но можно ли чувствовать, возвышаться духом, мыслить, ярко живописать, когда вращаешься среди таких людей, встречи с которыми ищешь только ради корысти, когда видишь да слышишь только такие разговоры и пересуды: «Сегодня

на бульваре было очаровательно. Вы видели маленькую савоярку? Она играет бесподобно. У господина такого-то лошади чудо как хороши — серые в яблоках, такие, что лучше и не вообразить. А красавица господа такая-то стареет. И разве можно в сорок лет носить такую прическу? Молодая такая-то была вся в брильянтах, которые ей не стоят ничего». — «Вы хотите сказать: стоят дорого». — «Да нет». — «А где вы ее видели?»-«На представлении „Потерянного и найденного сына Арлекига“. Сцена отчаяния была разыграна так хорошо, как никогда. Ярмарочный полишинель орет во все горло, но нет у него тонкости, нет души. Госпожа такая-то родила двойню, каждому отцу будет по ребенку». И неужели вы считаем, что когда целый день говоришь, повторяешь и слышишь подобный вздор, то это воодушевляет и вдохновляет на что нибудь великое?

Я. Нет. Лучше запереться у себя на чердаке, пить воду, есть черствый хлеб и стараться обрести самого себя.

Он. Может быть, но мне для этого недостает мужества. И к тому же пожертвовать своим счастьем ради сомнительного успеха! Да еще имя, которое я ношу!.. Рамо! Зваться Рамо — это стеснительно. Талант — не то что дворянство,

которое наследуется и слава которого возрастает, переходя от деда к отцу, от отца к сыну, от сына к внуку, причем прадед не требует от своих потомков никаких особых заслуг. Старый род разветвляется на целые поколения глупцов, но это неважно! Иначе обстоит дело с талантом. Только для того, чтобы приобрести известность отца, надо стать искуснее его. Надо унаследовать его жилку… Жилка мне не досталась, но зато размялась рука, смычок ходит, горшок на плите кипит. Если это и не слава, то все-таки бульон.

Я. На вашем месте я бы не считал, что этим все сказано. Я пытался бы.

Он. А вы думаете, я не пытался? Мне не было и пятнадцати лет, когда я сказал себе впервые «Что это с тобой, Рамо? Ты мечтаешь. А о чем ты мечтаешь? О том, что хорошо бы быть или стать автором чего-нибудь такого, что привело бы в восхищение весь мир. Ну вот, стоит только подуть да пошевелить рукой, стоит тобою пожелать да захотеть — и дело в шляпе». В возрасте более зрелом я повторял те же детские слона. Сейчас я их тоже повторяю и все продолжаю стоять подле статуи Мемнона.

Я. Что вы хотите сказать этой статуей Мемнона?

Он. Кажется, понятно. Подле статуи Мемнона было множество других статуй, на которые также падали лучи солнца, но ведь отзывалась только она одна. Поэт — это Вольтер. А еще кто? Вольтер. А третий кто? Вольтер. А четвертый? Вольтер. Композитор — это Ринальдо да Капуа, это Гассе, это Перголезе, это Альберти, это Тарти-ни, это Локателли, это Террадельяс, это мой дядя, это маленький Дуни, у которого ни вида, ни фигуры, но зато он чувствует, черт побери, зато он певуч и выразителен. А все прочее подле этих нескольких Мемнонов — только пара ушей, воткнутых в дубину. Зато и нищи мы, так нищи, что просто благодать! Ах, господин философ, нищета — ужасная вещь. Вот она затаилась, села на корточки, разинула рот, чтобы глотнуть хоть несколько капель ледяной воды, льющейся из бочки Данаид. Не знаю, обостряет ли эта вода ум философа, но она чертовски холодит голову поэта. Плохо поется под этой бочкой. Счастлив уж тот, кто сможет хоть примоститься под ней! Я тоже под ней сидел, но не сумел удержаться. Была со мной раз такая глупость. Путешествовал я по Богемии, Германии, Швейцарии, Голландии, Фландрии, у черта на рогах.

Я. Все под дырявой бочкой?

Он. Под дырявой бочкой. Был такой еврей, богатый и щедрый, любитель музыки и моих безумств. Я сочинял как бог на душу положит, дурачился, ни в чем не терпел недостатка. Еврей мой был человек закона и соблюдал его во всей строгости: с друзьями — иногда, с чужими — всегда. Попал он в скверную историю, и ее стоит вам рассказать, потому что она забавная.

Жила в Утрехте одна очаровательная куртизанка. Христианкой этой он пленился и отправил к ной слугу с векселем на довольно крупную сумму. Капризное создание отвергло его дары. Еврей впал в отчаяние. Слуга его говорит: «Чего вам так сокрушаться? Вы хотите поспать с хорошенькой женщиной — так нет ничего проще, и это будет женщина даже еще более красивая, чем та. Это моя жена, и я вам уступаю ее за ту же цену». Сказано — сделано, слуга оставляет у себя вексель, а еврей проводит ночь с его женой. Приходит срок платить по векселю. Еврей дает представить его ко взысканию и объявляет подложным. Начинается процесс. Еврей решает: «Никогда этот человек не осмелится рассказать, каким образом он получил с меня вексель, и я его не оплачу». На суде он спрашивает: «От кого вы получили этот вексель?»– «От вас». — «Под деньги, данные

взаймы?»– «Нет». — «Под товары?» — «Нет». — «За какие-нибудь услуги?» — «Но не в этом дело: вексель — мой, подписали его вы, и вы по нему заплатите». — «Я не подписывал его». — «Так, значит, я его подделал?» — «Вы или кто другой, у кого вы состоите на службе». — «Я подлец, а вы мошенник. Послушайте, не доводите меня до крайности. Я все скажу. Себя я опозорю, но и вас погублю…» Еврей не посчитался с этой угрозой, и на следующем заседании суда слуга рассказал, как было дело. Порицанию подверглись оба, еврея приговорили уплатить по векселю, а деньги пошли на пособие бедным. Тогда я и расстался с ним. Вернулся я сюда. Что тут было делать? Ведь надо было или умирать с голоду, или что-то предпринимать. В голове у меня возникали всякие планы. То я решал завтра же поступить в провинциальную труппу, все равно — актером ли или музыкантом в оркестре; на другой день я уже подумывал о том, чтобы заказать одну из тех картин, которые привязывают к шесту и ставят на перекрестке, и кричать во всю глотку, показывая на нее:

«Вот город, где он родился; вот он прощается со своим отцом-аптекарем; вот он в столице и разыскивает дом своего дядюшки… Вот он на

коленях перед дядюшкой, который гонит его… Вот он с евреем…»– и так далее и так далее. На следующее утро я вставал с твердым намерением присоединиться к уличным певцам; это было бы вовсе не так плохо; мы бы устраивали концерты под окнами дорогого дядюшки, а он лопнул бы от злости. Но я принял другое решение…

Тут он остановился, принял сперва позу скрипача, держащего свой инструмент и ретиво перебирающего струны, а затем — позу человека, изнемогающего от усталости, теряющего силы, шатающегося на ногах, готового испустить последний вздох, если ему не бросят кусок хлеба; палец, указывавший на полуоткрытый рот, говорил о последней крайности, в которой он находится. Потом он сказал:

— Разумеется, мне бросали кусок. А мы, трое или четверо голодных, дрались из-за него. Ну как в такой нужде возвышенно мыслить, творить что-нибудь прекрасное?

Я. Да, это трудно.

Он. Прыгая со ступеньки на ступеньку, я попал в тот самый дом. Там я катался как сыр в масле. Но я его покинул. Придется сызнова пилить струны и прибегать к помощи пальца, указывающего на открытый рот. В мире нет ничего устойчи-

вого. Сегодня на колесе, завтра под колесом. Распоряжаются нами проклятые случайности, и распоряжаются весьма плохо…

Затем, допив то, что оставалось в бутылке, он обратился к своему соседу:

— Сударь, сделайте милость, дайте щепотку табаку. Красивая у вас табакерка. Вы не музыкант?

— Нет.

— Тем лучше для вас, ведь музыканты — жалкие существа, достойные сострадания. Судьбе было угодно сделать меня одним из них, а между тем где-нибудь на Монмартре есть мельница и, может быть, мельник или работник мельника, который никогда ничего другого не услышит, кроме стука колес, хотя мог бы сочинить самые прекрасные арии. На мельницу, на мельницу, Рамо! Твое место — там.

Я. Чем бы ни занимался человек, он всегда предназначен к этому природой.

Он. Но она делает странные промахи. Что до меня, то я не могу подняться на ту высоту, при взгляде с которой все сливается: и человек, ножницами подстригающий дерево, и гусеница, грызущая его листья, так что видишь только двух насекомых, из которых каждое занято своим делом. Взберитесь-ка на эпицикл Меркурия и

там, если вам это по вкусу, подобно Реомюру, который делит мух на классы портных, землемеров, косарей, делите людей на классы столяров, плотников, скороходов, танцоров, певцов, — это уж будет ваше дело, и я в него не стану вмешиваться. Я живу в этом мире и в нем остаюсь. Но если от природы человеку свойственно иметь аппетит — а я все возвращаюсь к аппетиту, ощущению, которое я всегда испытываю, — и если порой бывает нечего есть, то, по-моему, это вовсе не порядок. Что это за хозяйство, черт возьми! Одни обжираются, а в то же время у других людей нечем перекусить, хоть они и обладают желудком столь же назойливым, как они сами, и вновь и вновь испытывают голод. Но что хуже всего — так это неестественная поза, в которой нас держит нужда. Человек нуждающийся ходит не так, как другие: он прыгает, ползает, изгибается, он пресмыкается; жизнь свою он проводит в том, что принимает разные позы.

Я. А что такое позы?

Он. Подите спросите у Новера. В нашем мире их гораздо больше, чем может изобразить его искусство.

Я. Вот и вы тоже, пользуясь выражением вашим или Монтеня, взобрались на эпицикл Меркурия

и взираете оттуда на различные пантомимы человеческого рода.

Он. Нет — говорю вам, нет; я слишком грузен, чтобы подняться так высоко. Подоблачные пространства я предоставляю журавлям, а сам жмусь к земле. Я осматриваюсь по сторонам и принимаю те или иные позы или забавляюсь, глядя на позы, принимаемые другими. Я мастер пантомимы, вы сейчас это увидите.

Тут он начинает улыбаться, изображая человека, исполненного восхищения, человека умоляющего и человека услужливого. Правую ногу он выставил вперед, левую отставил, спину выгнул, голову приподнял, взгляд словно прикован к чьим-то глазам, рот приоткрыт, руки протянуты к какому-то предмету; он ждет приказания, получает его, он летит стрелой, возвращается, исполнив его, отдает отчет. Он весь внимание; он поднимает всякую упавшую вещь; кладет подушку или подставляет скамеечку кому-то под ноги; он берет блюдечко, пододвигает стул, открывает дверь, затворяет окно, задергивает занавески, следит за хозяином и хозяйкой; он застывает в неподвижности, свесив руки, сдвинув ноги; он слушает, он старается читать по лицам; и он произносит:

— Вот моя пантомима, примерно та же, что у всех льстецов, царедворцев, лакеев и бедняков.

Дурачества этого человека, рассказы аббата Галиани, необыкновенные вымыслы Рабле не раз погружали меня в глубокое раздумье. Это — три источника, где я запасаюсь смешными масками, которые надеваю на лица самых важных особ; и в каком-нибудь прелате я вижу Панталоне, в некоем президенте — сатира, в монахе — борова, в министре — страуса, в первом его секретаре — гуся.

Я. Но, по-вашему, выходит, что в этом мире великое множество бедняков, и я не знаю никого, кто бы не проделывал некоторых па из вашего танца.

Он. Вы правы. Во всем королевстве только один человек и ходит — это сам монарх. Все прочие лишь принимают позы.

Я. Монарх? Тут тоже кое-что можно возразить. Неужто вы думаете, что порой и рядом с ним не оказываются маленькая ножка, изящная прическа, маленький носик, которые заставляют его немного заняться пантомимой? Тот, кто нуждается в другом, тем самым терпит нужду и принимает позы. Король принимает позу перед богом; он выделывает па из своей пантомимы.

Министр перед своим королем выделывает па царе дворца, льстеца, лакея или нищего. Толпа честолюбцев перед министром выделывает ваши па на сотни ладов, одни отвратительнее другого. Важный аббат в брыжах и сутане, по крайней мере, раз в поделю проделывает их перед тем, от кого зависят бенефиции. И право же, то, что вы называете пантомимой нищих, — это великий хоровод нашего мира. У каждого есть своя маленькая Юс и свои Бертен.

Он. Это утешает меня.

В то время как я говорил, он совершенно уморительно передразнивал позы тех, кого я перечислял. Например, когда речь шла о маленьком аббате, он под мышкой держал шляпу, а в левой руке требник; правой рукой он приподнимал полы своей сутаны; он шел, слегка склонив голову к плечу, опустив глаза, так безукоризненно изображая лицемера, что я словно воочию увидел автора «Опровержений» перед епископом Орлеанским. Когда я говорил о льстецах и честолюбцах, он прямо ползал на брюхе. Это был Буре перед генеральным контролером.

Я. Разыграно превосходно, — сказал я ему, — Есть, однако, человек, не прибегающий к пантомиме. Это — философ, у которого ничего нет и

которому ничего не надо.

Он. Л где искать этого зверя? Если у него ничего нет, он страдает; если он ничего не просит, он ничего и не получает… и всегда будет страдать.

Я. Нет, Диоген смеялся над потребностями.

Он. Но ведь нужна же одежда.

Я. Нет, он ходил совершенно голый.

Он. В Афинах иногда бывает и холодно.

Я. Не так, как здесь.

Он. Есть приходилось тоже.

Я. Разумеется.

Он. А за чей счет?

Я. За счет природы. К кому обращается дикарь? К земле, к животным, к рыбам, к деревьям, к травам, к кореньям, к ручьям.

Он. Неважный стол.

Я. Зато большой.

Он. Плохо сервированный.

Я. Однако с него-то и собирают, когда сервируют наши столы.

Он. Но вы все же согласитесь, что искусство наших поваров, пирожников, трактирщиков, рестораторов, кондитеров тоже вносит нечто свое. У вашего Диогена при столь строгой диете был, должно быть, весьма покладистый желудок.

Я. Вы ошибаетесь. Образ жизни киника когда-то

был образом жизни наших монахов и отличался теми же добродетелями. Киники — это же были афинские кармелиты и францисканцы.

Он. Ловлю вас на слове. Значит, и Диоген выплясывал пантомиму — если не перед Периклом, то, во всяком случае, перед Лаисой и Фриной?

Я. Вы и тут ошибаетесь. Другие дорого платили куртизанке, а ему она отдавалась ради одного удовольствия.

Он. А если случалось, что куртизанка была занята, а кинику было невтерпеж…

Я. Оп возвращался в свою бочку и обходился без нее.

Он. И вы мне советуете брать с него пример?

Я. Голову даю на отсечение, что это лучше, чем пресмыкаться, унижаться и торговать собой.

Он. Но мне нужна хорошая постель, хорошая еда, теплая одежда зимой, легкая — летом, нужны спокойствие, деньги и много других вещей, которыми я лучше буду обязан благодетелям, чем добуду их трудом.

Я. Это потому, что вы бездельник, обжора, трус, низкая душа.

Он. Я вам это, кажется, и говорил.

Я. Житейские блага имеют, конечно, свою цену, но вы не знаете, ценой каких жертв вы их

приобретаете. Вы танцуете, танцевали и будете танцевать гнусную пантомиму.

Он. Это правда. Но она мне дешево обходилась, а теперь и даром обходится. И потому-то было бы неправильно, если бы я усвоил другую повадку, которая была бы для меня настолько мучительна, что пришлось бы отказаться от нее. Но из ваших слов мне становится ясно, что моя милая покойная жена была своего рода философ. Бесстрашная она была, как лев. Иногда у нас не бывало хлеба и мы сидели без гроша. Мы распродали почти все наше тряпье. Я бросался на кровать, я ломал себе голову, у кого бы занять экю, который не нужно было бы отдавать. А она, веселая как птичка, садилась за клавесин и пела, сама себе аккомпанируя. У нее горло было соловьиное — жалко, что вы не слышали ее. Когда я участвовал в каком-нибудь концерте, я брал ее с собой. По дороге я ей говорил: «Ну, сударыня, заставьте восхищаться собой, покажите ваш талант и все ваше очарование. Увлекайте, ошеломляйте…» Мы являлись, она пела, она увлекала, ошеломляла! Увы! Я потерял бедную малютку. Кроме таланта у нее был ротик, в который едва можно было сунуть палец, зубки — точно ряд жемчужин, а какие глаза, ноги, кожа, щеки, груди! Ноги — как у серны, торс

— как у статуи. Рано или поздно она бы покорила по меньшей мере самого откупщика налогов. Капая была походка, какие бедра! Ах, боже мой, какие бедра!

Тут он начал изображать походку своей жены. Он мелко семенил, закидывал голову, играл веером, вертел бедрами. То была саман забавная и самая нелепая карикатура на наших кокеток.

Затем, продолжая свой рассказ, он добавил:

— Я гулял с ней повсюду: в Тюильри, в Пале-Рояле, на бульварах. Нельзя было и думать, что она так и останется со мной. Когда она, без шляпы, в коротенькой кофточке, переходила улицу по утрам, вы бы остановились, залюбовались; четырьмя пальцами вы легко обхватили бы ее стан. Все те, что шли за ней следом, что смотрели на ее семенящие ножки и мерили взглядом пышные бедра, обрисовывавшиеся под тоненькой юбочкой, ускоряли шаг. Она подпускала их к себе и быстро поворачивалась, глядя на них своими большими черными блестящими глазами, так что те останавливались как вкопанные. Лицевая сторона медали не уступала оборотной. Но — увы! — я ее утратил, и все мои надежды на фортуну рассеялись вместе с ней. Я только ради этого и женился на ней, я открыл ей мои планы, а она

была слишком умна, чтобы не поверить в них, и слишком рассудительна, чтобы их не одобрить.

И вот он уже всхлипывает, плачет.

— Нет, нет, — говорит он, я больше никогда не утешусь. С тех пор я живу как монах.

Я. С горя?

Он. Если хотите — да. Но верней — для того, чтобы жить своей головой… Взгляните, однако, который час, мне пора в Оперу.

Я. Что сегодня дают?

Он. Оперу Доверия. В музыке у него есть и неплохие места; жаль только, что он не первый их сочинил. Среди покойников всегда найдутся такие, которые приводят в отчаяние живых. Но что поделаешь? Quisque suos (поп) patimur manes. Однако уже половина шестого. Слышу колокол, который призывает к вечерне аббата Кане, да и меня. Прощайте, господин философ! Не правда ли, я все тот же?

Я. К несчастью, да.

Он. Пусть бы только это несчастье продлилось еще лет сорок: хорошо смеется тот, кто смеется последним.